



М.
ВЕЛЛЕР



РАНДЕВУ
СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ

Михаил Веллер

**Рандеву со
знаменитостью (сборник)**

«АСТ»

Веллер М. И.

Рандеву со знаменитостью (сборник) / М. И. Веллер — «АСТ»,

ISBN 978-5-271-43023-7

Книга Михаила Веллера в не совсем иногда обычной и даже эпатирующей форме говорит о горьком «пути наверх» нынешних сорокалетних, «несостоявшегося поколения» в годы безвременья, показывая скорее изнанку, чем лицо, своеобразного литературного мира.

ISBN 978-5-271-43023-7

© Веллер М. И.

© АСТ

Содержание

Пир духа	5
Гуру	5
Рандеву со знаменитостью	13
1. Парад	13
2. Реверанс	13
3. Знакомство	14
4. Оценка	21
5. Кумир	22
6. Свой парень	24
7. Милый-дорогой	25
8. Гамбургский счет	26
Положение во гроб	28
Кухня и кулуары	35
Разрушение легенд	35
Такт и ярлыки	35
«Как закалялась сталь»	35
«Повесть о настоящем человеке»	36
Госкомиздат	38
Полиглот	38
«Дата Туташхиа»	38
Лучший в мире читатель	38
Пушкин и русский язык	39
«Герой нашего времени»	40
«Тарас Бульба»	40
Тургенев	40
Бунин	41
Литература и язык	41
Поэты и кумиры	41
Ворошилов, Жюль-Верн и космополитизм	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Михаил Веллер

Рандеву со знаменитостью

Пир духа

Гуру

– Бесконечная мера вашего невежества – даже не забавна...

Такова была первая фраза, которую я от него услышал, – подножка моей судьбе, отклоненной им с предусмотренного пути.

Но – к черту интимные подробности.

Я всем ему обязан. Всем.

Теперь не узнать, кем он был на самом деле. Он любил мистифицировать. Весьма.

Я приходил с бутылкой портвейна и куском колбасы, или батоном, или пачкой пельменей, или блоком сигарет в его конуру. И прежде, чем мой палец касался дверного замка, из самоуверенного, удачливого, хорошо одетого, образованного молодого человека превращался в того, кем был на самом деле – в щенка. Он был – мастер и мэтр, презревший ремесло с горних высот познания. Он был мудрец; я – суетливый и тщеславный сопляк.

Он презирал порядок, одежду, репутацию и вообще людское мнение, презирал деньги – но кичливую нищету презирал еще больше. Добродетель и зло не существовали для него: он был из касты охотников за истиной. Не интересуясь фарсом законных новостей, он промывал ее крупницы, как золотоискатель в лотке.

Золотой песок своих истин он расшвыривал горстями равнодушного сеятеля направо и налево, рассчитываясь им за все.

Эта валюта имеет ограниченное хождение. Его жизнь можно было бы назвать историей борьбы, если б это не была история избиений. Изломанный и твердый, он напоминал саксаул.

Он распахивал дверь, и его дальнзоркие выпцветшие глазки шурились с отвагой и презрением на меня и сквозь – на внешний мир. Презрение уравнивало чашу весов его мировоззрения: на другой покоилась отвергнутая миром любовь. Я понял это позже, чем следовало.

Он принимал мои дары, как хозяин берет покупки у посланного в магазин соседского мальчишки, когда домработница больна. Каждый раз я боялся, что он даст мне на чай, – я не знал, как повести себя в таком случае.

Пижоня старческой брюзгливостью, он молча тыкал пальцем в вешалку, после – в дверь своей комнаты: я получал приглашение.

В комнате он так же тыкал в допотопный буфет и в кресло: я доставал стаканы и садился.

Он выпивал стакан залпом, закуривал, и в бесформенной массе старческого лица проступали, позволяя угадывать себя, черты – жесткие и несчастные. Он был из тех, кто идет до конца во всем. А поскольку все в жизни, живое, постоянно меняется, то в конце концов он в своем неотклонимом движении всегда заходил слишком далеко и оказывался в пустоте. Но в этой пустоте он обладал большим, чем те, кто чутко следуют колебаниям действительности. Он оставался ни с чем – но с самой сутью действительности, захваченной и законсервированной его едким сознанием; и ничто уже не могло в его сознании эту суть исказить.

– Мальчик, – так начинал он всегда свои речи, – мальчик, – вкрадчиво говорил он, и поколебленный его голосом воздух прогибался, как мембрана, которая сейчас лопнет под неотвратимым и мощным напором сконцентрированных внутри него мыслей, стремительно рас-

ширяющихся превращаясь в слова, как превращающийся в газ порох выбивает из ствола снаряд и тугим круглым ударом расширяет воздух.

– Мальчик, – зло и оживленно каркал он, и втыкал в меня два своих глаза ощутимо, как два пальца, – не доводилось ли тебе почитать такого мериканского письменника, которого звали Эдгар Аллан По? Случайно, может?

Я отвечал утвердительно – не боясь подвоха, но будучи в нем уверен и зная, что все равно окажусь в луже, из которой меня приподнимут за шиворот, чтоб плюхнуть вновь.

– Так вот, мальчик, – продолжал он, и по едва заметному жесту я улавливал, что надо налить еще. Он выпивал, вставал, – и больше не удостоивал меня взглядом в продолжении всех слов. Плевать ему было на меня. Я был – внешний мир. Я был – контактная пластина этого мира. К миру он обращался, не больше и не меньше.

– Все беды от невежества, – говорил он. – А невежество – из неуважения к своему уму. Из счастья быть бараном в стаде.

– Невежество. Нечестность. Глупость. Подчиненность. Трусость. Вот пять вещей, каждая из которых способна уничтожить творчество. Честность, ум, знание, независимость и храбрость – вот что тебе необходимо развить в себе до идеальной степени, если ты хочешь писать, мальчик. Те, кого чествуют современники – не писатели. Писатель – это Эдгар Аллан По, мальчик, – и он клал руку на корешок книги с таким выражением, как если б это было плечо мистера Э.А. По. Он актерствовал, – но прокручивая в голове эти беседы, я не находил в его актерстве отклонений от истины. Может, это мы актерствуем всякий раз, когда отклоняемся от естественности порыва?

– О честности, – говорил он, и голос его садился и сипел стершейся иглой, не способный выдержать накал исходящей энергии, – энергии, замешанной на познании, страдании, злости. – Ты обязан отдавать себе абсолютный отчет во всех мотивах своих поступков. В своих истинных чувствах. Не бойся казаться себе чудовищем, – бойся быть им, не зная этого. И не думай, что другие лучше тебя. Они такие же! Не обольщайся – и не обижайся.

Тогда ты поймешь, что в каждом человеке есть все. Все чувства и мотивы, и святость и злодейство.

Это все – хрестоматийные прописи. Ты невежествен, – и я не виню тебя в этом. Ты должен был знать это все в семнадцать лет, хотя понять тогда еще не мог бы. Но тебе двадцать четыре! что ты делал в своем университете, на своем филфаке, скудоумный графоман?! – И его палец расстреливал мою переносицу. Я вжимался в спинку кресла и потел.

– Без честности – нет знания. Нечестный – закрывает глаза на половину в жизни.

Наши чувства, наша система познания, восприятия действительности – как хитрофокусное стекло, сквозь которое можно видеть невидимую иначе картину мира. Но есть только одна точка, из которой эта картина видится неискаженной, в гармоничном равновесии всех частей – это точка истины. Точка прозрения в абсолютной честности, вне нужд и оценок.

Не бойся морали. Бойся искажения картины. Ибо при малейшем отклонении от точки истины – ты видишь – и передаешь – не трехмерную картину мира, а лишь ее двухмерное – и хоть каплю, да искаженное, – отображение на этом стекле, искусственном экране невежественного и услужливого человеческого мозга. Эпоха и общество меняют свой угол зрения – и твоё изображение уже не похоже на то, что когда-то казалось им правдой. А трехмерность, истина, – то и дело не совпадает с тем, что принято видеть, – но всегда остаются; колебания общего зрения не задевают их, они же корректируют эти колебания.

Поэтому никогда не общайся с людьми, которые вопрошают: «А зачем об этом писать?» – подразумевая, что писать надо в некой сбалансированной разумом пропорции, преследуя некие известные им цели. Такие люди неумны, нечестны и невежественны. Что ты знаешь о биополях? А о пране? о йоге? Не разряжай своей энергии, своей жизненной силы в никуда, контактируя с пустоцветом и идиотами.

– Искусство, мальчик, – он пьянел, отмякал, отрешался, – искусство – это познание мира, вот и все. Что с того, что во mnogой мудрости много печали. Что, и Экклезиаста не читал? серый штурмовичок... крысенок на пароходе современности... Духовный опыт человечества – вот что такое искусство. Анализ и одновременно учебник рода человеческого. Это тот оселок, на котором человечество оформляет и оттачивает свои чувства – все! Весь диапазон! На котором человечество правит свою душу. Вся черная грязь и все сияющее благоухание – удел искусства – как и удел человечества. Познание – удел человечества. Счастье? Счастье и познание – синонимы, мальчик, слушай меня. Это все банально, но ты запоминай, юный невежда. Ты молод, душа твоя глупа и неразвита, хотя и чувствительна, – ты не поймешь меня. Поймешь потом.

Я пил вино и пьянел. Он попеременно казался мне то мудрецом, то пустым фразером. Логика моего восприятия рвалась, не в силах подхватить стремительную струю крепчайшей эссенции, как мне казалось, его мыслей.

– Публика всегда аплодирует профессионально сделанной ей на потребу халтуре. Шедевры – спасибо, если не отрицая их вообще при появлении, – она не способна отличить от их жалких подобию. Зрение ее – двухмерно! А остаются – только шедевры! Художник – увеличивает интеллектуальный и духовный фонд человечества. Зачем? А зачем люди на этой планете? Только невежество задает такие глупые вопросы...

Ты не слышал об опытах на крысах? Первыми осваивают новые территории «разведчики». По заселении устанавливается жесткая иерархия, а «разведчиков» – убивают. «Так создан мир, мой Гамлет...» А Икар все падает, и все летит: не в деньгах счастье, не хлебом единым, живы будем – не помрем.

Он допивал вино и, снова повинаясь неуволимому желанию, шел на кухню заваривать чифир. Он не употреблял кофе – он пил чифир. Он говорил, что привык к нему давно и далеко, и произносил длинные рацеи о преимуществе чая перед кофе.

Чифир обозначал конец «общей части» и переход к «литературному мастерству». Он заявлял, что я самый паршивый и бездарный кандидат в подмастерья в его жизни. И, что обиднее всего – видимо, последний. В этом он оказался прав бесспорно – я был последним...

– Мальчишка, – говорил он с невыразимым презрением, и на лице его отражалось раздумье – стошнить или прилечь и переждать. – Мальчишка, он полагает, что написал рассказ лучше вот этого, – он потрясал журналом, словно отрубленной головой, и голова бесславно летела в угол с окурками и грязными носками.

– Шедевры! – ревел он. – По – писатель! Акутагава – писатель! Чехов – писатель! И выбрось всю дрянь с глаз и из головы, если только тебя не устраивает перспектива самому стать дрянью!

И заводил оду короткой прозе.

– Вещь должна читаться в один присест, – утверждал он. – Исключения – беллетристика: детектив, авантюра, ах-любовь. Оправдания: роман-шедевр, по концентрации информации не уступающий короткой прозе. Таких – несколько десятков в мировой истории.

Концентрация – мысли, чувства, толкования! Вещь тем совершеннее, чем больше в ней информации на единицу объема! чем больше трактовок текста она допускает! Настоящий трехмерный сюжет – это всегда символ! Настоящий сюжетный рассказ – всегда притча!

Материал? Осел! Шекспир писал о Венеции, Вероне, Дании, острове, которого вообще не было. А По? А Акутагава? Мысль!! – лежит в основе, и ты оживляешь ее адекватным материалом. Ты обязан знать, видеть, обонять и осязать его, – но не обязан брать из-под ног. Бери где хочешь. Все времена и пространства – сущие и несуществующие – к твоим услугам. Это азбука! – о невежество!..

Он дирижировал невидимому чуткому оркестру:

– Процесс создания вещи состоит из следующих слоев: отбор наиболее подходящего, выигрышного, сильнейшего материала; организация этого материала, построение вещи, композиция;

изложение получившегося языковыми средствами. Этот триединый процесс оплодотворяется мыслью, надеждой, которая и есть суть рассказа. Пренебрежение одним из четырех перечисленных моментов уже не даст появиться произведению действительно литературному.

Хотя! – он взмахивал обтерханymi рукавами, и оркестр сбивался, – хотя! – доведение до идеала, открытия, лишь одного из четырех моментов уже позволяет говорить об удаче, таланте и так далее. Но только доведение до идеала всех четырех – рождает шедевр.

Каждая буква должна быть единственно возможной в тексте. Редактирование – для пустых и лентяев, вечных стажеров. Не суетись и не умствуй: прослушивай внимательно свое нутро, пока камертон не откликнется на истинную, единственную ноту.

Не нагромождай детали – тебе кажется, что они уточняют, а на самом деле они отвлекают от точного изображения. Каждый как-то представит себе то, о чем читает, твое дело – задействовать его ассоциативное зрение одной-двумя деталями. Скупость текста – это богатство восприятия, дорогой мой.

Записывать мне было запрещено. Он – открывал себя миру и не желал отчуждения своих истин в чужом почерке.

Я жульничал. В соседнем подъезде закидывал закорючками листки блокнота, чтоб дома перенести в амбарную книгу полностью. Иногда при этом казался себе старательным тупицей, зубрящим правила в надежде, что они откроют секрет успеха.

– У мальчика подвешен язык, – язвил он. – У мальчика стоят мозги – и то ладно. Импотент от творчества не способен оплодотворить материал – он в лучшем случае описатель. Творческий командированный. Приехал и спел, что он видел. Дикари!!.. Кстати, таким был и Константин Георгиевич. А ты не хай, сопляк, сначала поучись у него описывать чисто и красиво. Момент не достаточный, но в общем не бесполезный.

Он затягивался, втягивал глоточек чифира и выдыхал дым. И высекал:

– Первое. Научись писать легко, свободно – и небрежно – так же, как говоришь. Не тужься и не старайся. Как бог на душу положит. Обычный устный пересказ – но в записи, без сокращений.

Второе. Пиши о том, что рядом, что знаешь, видел и пережил. Точнее, подробнее, размашистее.

Третье. Научись писать длинно. Прикинь нужный объем и пиши втрое длиннее. Придумывай несуществующие, но возможные подробности. Чем больше, тем лучше. Фантазируй. Хулигань.

Четвертое. А теперь ври напропалую. Придумывай от начала и до конца; начнет вылезать и правда – вставляй и правду. Верь, что это так же правдоподобно, как и то, что ты пережил. То, что ты нафантазировал, ты знаешь не хуже, чем всамделишное.

С демонстративным отвращением он перелистывал приносимые мной опусы, кои и порхали в окурочно-носочный угол как дохлые уродцы-голуби, неспособные к полету.

– Так. Первый класс мы окончили: научились выводить палочки и крючочки. Едем дальше, о мой ездун:

Пятое! Выкидывай все, что можно выкинуть! Своди страницу в абзац, а абзац – в предложение! Не печалься, что из пятнадцати страниц останутся полторы. Зато останется жилистое мясо на костях, а не одежды на жирке.

Шестое. Никаких украшений! Никаких повторов! Ищи синонимы, заменяй повторяющееся на странице слово чем хочешь! Никаких «что» и «чтобы», никаких «если» и «следовательно», «так» и «который». По-французски читаешь? Ах, пардон, я забыл, каких садов ты фрукт и продукт. Читай «Мадам Бовари» в Роммовском переводе. Сто раз! С любого места! Когда сумеешь подражать – двинешься дальше.

В голосе его мне впервые услышалось снисхождение верховного жреца к щенку на ступеньках храма.

Началось мордование. Я перестал спать. Болело сердце и весь левый бок. Я вскакивал ночью от удушья. Зима кончалась.

– Отработка строевого шага в три темпа, – издевался он. – Что, не нравится писать просто, а?

Я преступно почитывал журналы и ужасался. Я хотел печататься и заявлять о себе. Но течение несло, и я не сопротивлялся: туманный берег обещал невообразимые чудеса – если я не утону по дороге.

В апреле я принес четыре страницы, которые не вызвали его отвращения.

– Так, – констатировал он. – Второй класс окончен. Небыстро. Не совсем бездарь, хм... задатки прорезались...

Наверное, я нажил нервное истощение, потому что чуть не заплакал от любви и умиления к нему. Старый стервец со вкусом пукнул и поковырялся в носу.

Допив портвейн, он поведал, что сейчас – еще в моей власти: бросить или продолжать; но если не брошу сейчас – человек я конченный.

Я, почувствовав в этом посвящение, отвечал, что уже давно – конченный, умереть под забором сумею с достоинством, и сорока пяти лет жизни мне вполне хватит.

В мае я принес еще два подобных опуса.

– Не скучно работать одинаково?

– Скучно...

– Элемент открытия исчез... Ладно...

– Седьмое! – он стукнул кулаком по стене. – Необходимо соотношение, пропорция между прочитанным и прожитым на своей шкуре, между передуманным и услышанным от людей, между рафинированной информацией из книг и знанием через ободранные бока. Пошел вон до осени! И катись чем дальше, тем лучше. В пампасы!

Я плюнул на все, бросил работу и поехал в Якутию – «в люди».

Память у него была – как эпоксидная смола: все, что к ней прикасалось, кристаллизовалось навечно:

– Восьмое, – спокойно сказал он осенью. – Наляжем на синтаксис. Восемь знаков препинания способны сделать с текстом что угодно. Пробуй, перегибай палку, ищи. Изменяй смысл текста на обратный только синтаксисом. Почитай-ка, голубчик, Стерна. Лермонтова, которого ты не знаешь.

Я налегал. Он морщился:

– Не выпендривайся – просто ищи верное.

Продолжение последовало неожиданно для меня.

– Девятое, – объявил он тихо и торжественно. – Что каждая деталь должна работать, что ружье должно выстрелить – это ты уже знаешь. Слушай прием асов: ружье, которое не стреляет. Это похитрее. Почитай-ка внимательно Акутагаву Рюноске-сан, величайшего мастера короткой прозы всех времен и народов; один лишь мистер По не уступает ему. Почитай «Сомнение» и «В чаще». Обрати внимание на меч, который исчез неизвестно куда и почему, на отсутствующий палец, о котором так и не было спрошено. Акутагава владел – на уровне технического приема! – величайшим секретом, юноша: умением одной деталью давать неизмеримую глубину подтексту, ощущение неисчерпаемости всех факторов происходящего... – он закашлялся, сложил руки к груди и захрипел, опускаясь.

Я заорал про нитроглицерин и, перевернув кресло, ринулся в коридор к телефону. Вызвав «скорую» – увидел его землисто-бледным, однако спокойным и злым.

– Еще раз запаникуешь – выгоню вон, – каркнул он. – Я свой срок знаю. Иди уже, – добавил с одесской интонацией, сопроводив подобающим жестом.

С приемом «лишней детали» я мучился, как обезьяна с астробабкой. Безнадежно...

– Не тушуйся, – каркал наставник. – Это уже работа по мастерам. Ты еще не стар.

И подлил масла в огонь, уничтожающий мои представления о том, как надо писать:

– Десятое. Вставляй лишние, ненужные по смыслу слова. Но чтоб без этих слов – пропал смак фразы. На стол клади «Мольера» Михаила Афанасьевича.

И жезлообразный его палец пустил несправедное движение моей жизни в очередной поворот, столь похожий на откос. По старому английскому выражению, «я потерял свой нерв». В марте, через полтора года после начала этого самоубийства, я пришел и сказал, что буду беллетристом, а еще лучше – публицистом. И поднял руки.

– Одиннадцатое, – холодно вымолвил мой Люцифер. – Когда решишь, что лучше уже не можешь, напиши еще три вещи. Потом можешь вешаться или идти в школьные учителя.

Все кончилось в мае месяце. Хороший месяц – и для начала, и для конца любого дела.

– Молодой человек, – обратился он на «вы». – У вас есть деньги?

Денег не было давным-давно. Я стал люмпеном.

– Мне наплевать. Украдите, – посоветовал он. – Придете через час. Принесите бутылку хорошего коньяку, двести граммов кофе, пачку табаку «Трубка мира» и самую трубку работы лично мастера Федорова, коя в лавке художника стоит от тринадцати до сорока рублей. Не забудьте лимон и конфеты «Каракум».

Восемь книг я продал в подворотне букинистического на Литейном. Камю, Гамсуна и «Моряка в седле» я с тех пор так и не возместил.

Лимон пришлось выпрашивать у заведующей столом заказов «Елисеевского».

– Вот и все, молодой человек, – сказал он. – Учить мне вас больше нечему.

Я не сразу сообразил, что это – он. Он был в кремовом чесучовом костюме, голубой шелковой сорочке и черно-золотом шелковом галстуке. На ногах у него были бордовые туфли плетеной кожи и красные носки. Он был чистейше выбрит и пах не иначе «Кельнской водой № 17». Передо мной сидел аристократ, не нуждавшийся в подтверждении своего аристократизма ежедневной публикой.

Благородные кобальтовые цветы на скатерти белее горного снега складывались из букв «Собственность муниципала Берлина, 1 900». Хрустальные бокалы зазвенели, как первый такт свадьбы в королевском замке.

– Мальчишкой я видел Михаила Чехова, – сказал хозяин, и я помертвел: я не знал, кто такой Михаил Чехов. – Я мечтал всю жизнь о литературной студии. Не будьте идеалистом, мне в высшей степени плевать на все; просто – это, видимо, мое дело.

Не обольщайтесь, – он помешал серебряной ложечкой лимон в просвечивающей кофейной чашке. – Я не более чем дал вам сумму технических приемов и показал, как ими пользуются. Кое на что раскрыл вам глаза, закрытые не по вашей вине. Сэкономил вам время, пока еще есть силы. С толком ли – время покажет...

В его присутствии сантименты были немыслимы; уже потом мне сделалось тоскливо ужасно при воспоминании об этом прощании.

Сколько породы и истинной, безрекламной значительности оказалось в этом человеке!.. Он мог бы служить украшением любого международного конгресса, честное слово. Эдакий корифей, снизошедший запросто на полчаса со своего Олимпа.

Он потягивал коньяк, покачивал плетеной туфлей, покуривал прямую капитанскую трубку. И благодушно давал напутственные наставления.

– Читайте меньше, перечитывайте больше, – учил он. – Четырех сотен книг достаточно профессионалу. Когда классический текст откроет вам человеческую слабость и небезгрешность автора – вы сможете учиться у него по-настоящему.

– Читая, всегда пытайтесь улучшать. Читайте медленно, очень медленно, пробуйте и смакуйте фразу глазами автора, – тогда сможете понять, что она содержит, – учил он.

– Торопитесь смолоду. Слава стариков стоит на делах их молодости. Возрастом пика прозаика можно считать двадцать шесть – сорок шесть; исключения редки. Вот под пятьдесят и займетесь окололитературной ерундой, а раньше – жаль.

...Позже, крутясь в литературской кухне, я узнал о нем много – все противоречиво и малоправдоподобно. Те два года он запрещал мне соваться куда бы то ни было, натаскивал, как тренер спортсмена, не допускаемого к соревнованиям до вхождения в форму.

– Умей оттаскивать себя за уши от работы, – учил он. – Береги нервы. Профессионализм, кроме всего прочего – это умение сознательно приводить себя в состояние сильнейшего нервного перевозбуждения. Задействуются обширные зоны подсознания, и перебор вариантов и ходов идет в бешеном темпе.

(– Кстати, – он оживлялся, – сколь наивны дискуссии о творчестве машин, вы не находите? Дважды два: познание неисчерпаемо и бесконечно, применительно к устройству человек – также. Мы никогда не сможем учесть – а значит, и смоделировать – механизм творческого акта с учетом всех факторов: погоды и влажности воздуха, ревматизма и повышенной кислотности, ощущения дырки от зуба, даже времени года, месяца и суток. Наши знания – «черный ящик» – ткни так – выйдет эдак. Моделируем с целью аналогичного результата. Начинку заменяем, примитивизируя. Шедевр – это нестандартное решение. Компьютер – это суперрешение суперстандарта, это логика. Искусство – надлогика. Другое дело – новомодные теории типа «Каждый – творец» и «Любой предмет – символ»; но тут и УПП слепых Лувр заполнит, зачем ЭВМ. Нет?)

– Художник – это турбина, через которую проходит огромное количество рассеянной в пространстве энергии, – учил он. – Энергия эта являет себя во всех сферах его интеллектуально-чувственной деятельности; собственно, сфера эта едина: мыслить, чувствовать, творить и наслаждаться – одно и то же. Поэтому импотент не может быть художником.

Он величественно воздвигся и подал мне руку. Все кончилось.

Но на самом деле все кончилось в октябре, когда я вернулся с заработков на Северах, проветрив голову и придя в себя. Недельку я просаживал со старыми знакомыми часть денег, а ему позвонил второго октября, и осталось всегда жалеть, что только второго.

Тридцатого сентября его увезли с инфарктом. Через сорок минут я через справочные вышел по телефону на дежурного врача его отделения и узнал, что он умер ночью.

Родни у него не оказалось. В морге и в его жилконторе мне объяснили, что необходимо сделать, если я беру это на себя.

Придя с техником-смотрителем, я взял ключ у соседей и с неловкостью и стыдом принялся искать необходимое. Ничего не было. Все, что полагается, я купил в ДЛТ, а на Владимирском заказал венок и ленту без надписи. Вряд ли ему понравилась бы любая надпись.

Зато в низу буфета нашел я пачищу своих опусов, аккуратно перевязанную. Они были там все до единого. И еще четыре пачки, которые я сжег во дворе у мусорных баков.

А в ящике письменного стола, сверху, лежал конверт, надписанный мне, с указанием вскрыть в день тридцатилетия.

Я разорвал его той же ночью и прочитал:

«Не дождался, паршивец? Тем хуже для тебя.

Ты не Тургенев, доходов от имения у тебя нет. Профессионал должен зарабатывать. Единственный выход для таких, как ты, – делать халтуру, не халтура. Тем же резцом! Есть жесткая связь между опубликованием и способностью работать в полную силу. Работа в стол ведет к деградации. Кафка – исключение, подтверждающее правило. Булгаков – уже был Булгаковым. Ограниченные лишь мифологическими сюжетами – были, однако, великие художники. Надо строить ажурную конструкцию, чтобы все надолбы и шлагбаумы приходились на предусмотренные свободным замыслом пустоты: как бы ты их не знаешь.

А иначе приходит ущербное озлобление. Наступает раскаяние и маразм. «Он бездарь! Я могу лучше!» А кто тебе не велел?.. Раскаяние и маразм!»

Несколько серебряных ложек, мейсенских чашек и хрустальных бокалов оказались всеми его ценностями. Потом я долго думал, что делать с тремя сотнями рублей из комиссионки, не придумал, на памятник не хватило, и я их как-то спустил.

Ночью после похорон я опять листал две амбарные книги, куда записывал все слышанное от него.

«Учти „хвостатую концовку“, разработанную Бирсом».

«Выруби из плавного действия двадцать лет, стыкуй обрезы – вот и трагическое шемление».

«Хороший текст – это закодированный язык, он обладает надсмысловой прелестью и постигается при медленном чтении.»

«Не бойся противоречий в изложении – они позволяют рассмотреть предмет с разных сторон, обогащая его».

«Настоящий рассказ – это закодированный роман».

«Короткая проза еще не знала мастера контрапункта».

И много еще чего. Все равно не спалось.

День похорон был очень какой-то обычный, серый, ничем не выдающийся. И он лежал в гробу – никакой, не он; да и я знаю, как в морге готовят тело к погребению...

Звать я никого не хотел, заплатил, поставили гроб в автобусе и я сидел рядом один.

Северное кладбище, огромное индустриализованное усыпальище многомиллионного города, тоже к размышлениям о вечности не располагало в своем деловом ритме и в очередях у ворот и в конторе.

Мне вынесли гроб из автобуса и поставили у могилы. Я почему-то невольно вспомнил, как Николай I вылез из саней и один пошел за сиротским гробом нищего офицера; есть такая история.

Прямо странно слегка, как просто, обыденно и неторжественно все это было. Будто на дачу съездить. Но когда я возвращался с кладбища, мне казалось, что я никогда ничего больше не напишу.

Рандеву со знаменитостью

1. Парад

Торжественный зал. Люстра, кинохроника, смокинги, блики фотовспышек на лысинах. Недержание лесты: симфония славословий.

– ...за величайшее достижение в области литературы двадцатого века. И, может быть, литературы вообще!..

Не помыслить в искусстве (и в науке!) свершения большего, чем ответы на все вечные вопросы. Дерзновенна уже одна мысль о постановке подобной задачи.

Эта задача не только поставлена – она решена. (*Овация.*)

Сегодняшняя Премия, слава, богатство – суетный прах, запоздавшая тень заслуженной награды, которой по праву мы чтим Его. Слава и честь покорителю высочайшей из вершин, чей подвиг не будет превзойден в веках. (*Бурная овация. Чествуемый промакивает лоб платком.*)

– Путь на вершину – это восхождение на Голгофу, а не на пьедестал. И чем выше вершина – тем тяжелее крест. Пьедестал памятника сделан из плахи таланта.

Ум его не знал запретов, а воля не ведала преград. Отказ от карьеры, сгоревшие страсти, погибшие способности, годы унижений и нищеты, непереносимых сомнений, разъедающих кислотой душу и мозг, годы метаний и мук, когда обретение оборачивается миражом, и непостижимость миража завораживает сумасшествием и баюкает самоубийством – такова плата за гений: бесценное сокровище, открытое человечеству. (*Зал слегка пришиблен.*)

Выжженная земля остается за спиной того, кто один на один уходит в погоню за истиной. (*Нерешительные аплодисменты.*)

– ...пример неколебимой стойкости духа. Юность и страсть, здоровье и мудрость, честность и сила переплавились в сжигающем жаре вдохновения, являя невиданный сплав – ту человеческую сталь, для которой возможно даже невозможное.

Вера и мужество, интуиция и расчет, труд и талант, целеустремленность и нечеловеческая выносливость – малая часть качеств, необходимых для написания истинной Книги. Той, что открывает человечеству новую страницу в познании. (*Чествуемый уже тихо тоскует.*)

– ...венце величественного здания литературы, созданного гением земной цивилизации! Пока существует человечество – оно будет читать эту Книгу и свято чтить это имя. (*Жарко; клюют носами, поглядывают на часы.*)

2. Реверанс

Ответная речь. Кукушка хвалит петуха. Чествуемый с невозмутимым лицом Будды утверждает на кафедре, как адмирал – на мостике рыбацкой шхуны. На всех лицах изображается именно то чувство, что они лицезреют величайшего из людей. Звон тишины служит увертюрой к речи.

– ...незаслуженные почести. (*Поклон залу. Овация.*)

Если человек любит свое дело – величайшей для него наградой является возможность свободно заниматься этим делом – так, как он хочет и видит, понимает нужным.

Иногда я чувствую себя не автором Книги, столь высоко оцененной вами, а лишь ЕЕ представителем, подчиненным, гидом, что ли. (*Дружелюбный смех в зале.*)

На мою долю выпал редкий и счастливый случай: полное понимание при жизни, признание современников. В каждом ли солдатском ранце лежит маршальский жезл – но за каждой солдатской спиной стоит смерть. Охотник за истиной должен быть всегда готов к тому, что удача застигнет его вдали от людей, и голос не успеет покрыть пройденную даль, покуда он жив. В моем ремесле победа не любит свидетелей.

Я был всегда готов к забвению и смерти: таковы условия игры. И когда ты принимаешь их, то получаешь шанс выиграть. Если не побоишься передернуть в верный момент. (*Шевеление и звуки в зале.*)

Удостоенный сегодня за мою работу высшего из всех возможных отличий... (*поклон; овация*)... я хочу напомнить: писатель не существует без читателей, как не существует магнит с одним полюсом. Необходимы все те, кто читает, и все те, кто не читает – тоже: ибо основание держит весь груз горы, венчаемой пиком.

Книга начинает свою жизнь после прочтения. До тех пор созданное писателем может быть завершено и совершенно – но еще не живет. Первое прочтение читателем – это тот шлепок, который акушерка дает младенцу, вызывая первый вдох.

Я благодарю вас за жизнь, которую вы вдохнули в мою Книгу. (*Овация.*) За труд, которым вы завершили мою работу, не имевшую бы смысла, не будь всех вас. (*Бурная овация.*)

Я благодарю моих отца и мать, которые родили меня, вырастили и воспитали.

Моего брата, любящего и верящего в меня всегда.

Мою жену, разделившую со мной небезбедную жизнь безоглядно и верно.

Моих учителей, живых и мертвых, у которых я научился всему, чему мог.

Моих друзей, чье тепло, доброта и понимание помогли мне выжить.

Моих врагов, которые научили меня быть сильным, не бояться и побеждать.

3. Знакомство

Пресс-конференция. Помпезная процедура разбавляется привычным профессионализмом журналистов.

– Что Вы чувствуете сегодня, в этот знаменательный для Вас день получения Высшей Премии?

– Ничего особенного. Приятно, разумеется. И слегка презираю себя за то, что приятно: надо быть выше атрибутики и суетных наград.

– Но Премия – знак признательности современников. Вы нашли дорогу к их сердцу и уму – это не может быть безразлично автору?

– Любому хочется, чтоб его понимали – причем так, как он сам считает правильным. Но это практически исключено: автор понимает одно, читатель другое, критик третье, журналист четвертое – если вообще читал то, о чем говорит.

– Вы не уважаете читателей?

– Я рад каждому, кто меня как-то понимает и кому я могу что-то дать. Но нельзя корректировать свою работу в зависимости от читательских отзывов. Кто делает что-то в искусстве – должен быть принят теми, кто в нем менее компетентен, чем автор. Следуя пожеланиям и взглядам читателей, я низведу свою компетентность до уровня людей некомпетентных, непрофессионалов, – что же нового я смогу им тогда дать, если стану писать так, как они уже знают (коли советуют)? Понимание писателя читателем обогатит читателя; следование писателя за читателем обеднит обоих. Увы – мы пережевываем сейчас эту банальную истину только по дилетантству задавшего вопрос. (*Смешки и сомнение в зале.*)

– Присуждение Премии явилось для Вас неожиданностью?

– Нет. Еще в двадцать лет я знал, что получу ее. И не ошибся в сроке.

– Вы приписываете это своему таланту? случаю, воле, удаче? гениальности?

– Я не знаю, что такое «талант», и что такое «гений» я тоже не знаю. Для себя я оперирую понятием «работать хорошо». Я работаю хорошо.

Удача? Судьба благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет. Воля? Вид пропасти заставляет строить мост. Произошло лишь то, что должно было произойти.

– Хорошо: что Вы почувствовали, только узнав о присуждении Премии?

– Вам нужен восторг, счастье, необыкновенный подъем? Нет; лишь легкую тоску оттого, что ничего этого я не почувствовал... «Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула». И все-таки было знание: я сделал то, что должен был сделать. Видите ли: мало написать Великую Книгу – надо добиться признания ее таковой.

– Вы верите в неизвестных гениев?

– Бесспорно. Ведь гением признается тот, чей труд был раньше или позже признан. Понят, принят. Оказал влияние на умы, на развитие идей, науки, деятельности, – на человечество. Макрокосм нашей культуры, расширяясь, развивается и движется в каком-то преимущественном направлении. Разведать и проложить дорогу, пробить выход на нее – вот работа гения.

Но:

Человечество может быть не готово к этому открытию.

Может не заметить его.

Может избрать один из ряда аналогичных вариантов.

Или открытие может опоздать.

Гений – это творец, застолбивший участок на золотой жиле истории. На той дороге, по которой пойдет человечество. Ее трудно знать наверняка. И она может иметь боковые, параллельные пути – на которых безвестные гении лишены признания в веках: история мчит мимо у горизонта, воздавая хвалу удачливому их собрату.

То есть. Гением нужно быть, но, будучи гением, можно являться таковым пред человечеством, а можно не являться.

Самоучка-портной создал дифференциальное исчисление – давно известное математикам.

Законы Максвелла за сорок лет до него открыл и сформулировал забытый английский профессор: он не сумел привлечь к себе внимание.

Колумб не первый открыл Америку – он первый открыл ее вовремя.

Гений – это именной указатель (часто посмертный) на столбовом пути прогресса. Для прогресса хватит одного пути, а для указателя – одного имени.

В искусстве же, которое условно, и система условностей которого не есть абсолют, особенно часто со всей дерзостью, оригинальностью, глубиной – отклоняются от столбового пути забвение. Иногда – чтобы быть на указателях когда-нибудь вновь. Был век забвения Шекспира. Посмертная слава художников. Доисторические пещерные росписи, открытые сто лет назад, воспринимались поначалу как несовершенный примитивизм, а позднее – как блистательные стилизации.

Какая бездна смысла и красоты открывается японцу в крошечном садике, ничтожном на взгляд поверхностного и грубого европейца! Так вот: на свое гениальное творение надо заставить людей смотреть столь же внимательно и углубленно, как тот японец.

– На что Вы намерены потратить Премию?

– Деньги всегда сами найдут, куда уйти. (*Пожатие плеч. Смех в зале.*)

– Но ее сумма играет для Вас роль?

– Десять лет назад это могло бы сделать мою жизнь полней, смягчить трудности, позволить больше работать. Сейчас – это не важно.

– Вы из тех, кто презирает богатство?

- Я из тех, кто ненавидит нищету.
 - Если верить прессе, Ваши доходы ныне очень высоки?
 - Верить ли прессе – тут виднее вам. Пожалуй, у меня есть сейчас чуть больше, чем я когда-то хотел. Но я не жалею. (Смех.)
 - Что помогло Вам выстоять в лишениях?
 - Неизбежность победы. Наслаждение борьбой. Счастье работать свободно и в полную силу: не гнуть спину и совесть за деньги. В общем все пережитое соответствовало моим желаниям. Если ясно видишь обстановку и сам делаешь выбор – то уж стой и не падай. Я знал, что свое сделаю.
 - У Вас бывали приступы отчаяния?
 - Бессильного бешенства – да.
 - Вам случалось терять веру в себя?
 - Отменная глупость. Нет.
 - Ваш девиз?
 - Не было – так будет. Сделай или сдохни.
 - Как зародился замысел Вашей Книги?
 - Моя любимая притча – «Ворота» Кафки: «Они были предназначены для тебя одного...»
- Мне было тридцать два года, и я писал рассказ, где было сказано о любви все – «Соблазнитель». Я рассуждал о счастье и анализировал психологический механизм отказа от него – извечный парадокс, решение которого дает богатейшие следствия.
- И как-то ненастным мартовским вечером я настолько удалился от начала по проявляющейся паутине следствий, что вообще отложил рассказ, вернувшись к нему четыре года спустя.
- Уловленная нить логики уводила в глубины буквально всех основных вопросов бытия. Я стал искать основной принцип, могущий как-то объединить все аспекты бытия, спроецировать их на некую одну плоскость: искать единую систему отсчета, насколько мог ее представить на основе собственных знаний.
- Вроде получилось. До странности легко получилось...
- И уже в темноте, в постели, в третьем часу ночи, затуманенный хаос открытия дрогнул в воспаленном мозгу, и ясное знание прорезалось четко, как бронзовый чекан.
- И жутковато повеяло: не может смертный постичь то, что открылось мне. Открылось с абсолютной непреложностью...
- Шли дни: я холодел в возбуждении. Я не сомневался в очевидном, но суеверие покалывало: неужели – Я?..
- Я трезво прикидывал исходные данные: исторический момент, свою личность и судьбу... и утверждался в том, что действительно создал новое, универсальное учение, приложимое ко всем аспектам бытия, объемлющее все известные основы наук и объясняющее все сущее – от особенностей человеческой психики – на одном полюсе учения, и до Судьбы Вселенной – на другом.
- Ну что ж, сказал я себе. Почему бы тебе и не быть чуть-чуть умнее, чем царь Соломон. В конце концов, у тебя лучшие условия для спокойной работы.
- А дальше осталось только детально разработать приложение Метода ко всем основным вопросам.
- Но Ваша Книга вредна: она отняла у людей веру в будущее?
 - Знание истины не может быть вредным, ибо истина существует независимо от того, знаем мы о ней или нет. Знание – необходимо для выбора верных действий. Я дал людям знание будущего. Они могут им распорядиться. Если смогут. Разве те, кто отнял веру в Бога, не дали знание и не повысили ответственность человека? Отгораживаться от истины – значит лишать себя перспективы; и это возможно лишь на время.
 - Но Вы отрицаете перспективы!

– Отнюдь. Юноша знает, что состарится и умрет: это не мешает ему наслаждаться жизнью и строить судьбу, цenia время.

– Вы пессимист?

– Нет. Скорее стоик. Истина вне пессимизма или оптимизма, вне добра и зла и вообще оценочных категорий антропоцентризма.

– Вы верите во что-нибудь? Во что Вы верите?

– «Надежда в Бозе, а сила в руке». Мне симпатичен взгляд норманнов: вера в судьбу прекрасно сочеталась у них с верой только в силу собственного оружия. Я не знаю, что такое вера. Продленное желание? Экстраполяция знания, замешанная на энергии, желании, – пусть даже вопреки кажущейся очевидности, кажущемуся здравому смыслу и банальным полуистинам: ощущение высшей истины... Но меня больше устраивает определение: знание.

– Что самое трудное для Вас в работе писателя?

– Нервное истощение. Настоящая работа делается на большом нервном перенапряжении: первое следствие – бессонница; становишься вял, сер, безмерно раздражителен и чувствителен. Запускаешь все, опускаешься физически. Забываешься горячечным сном под утро, урывками спишь весь день, неспособен отвлечься ни на что: мысль о каких-либо обязательствах, делах – несносно изматывает, гонишь ее. И лишь в сумерки обычно садишься за стол свежим и собранным, чтоб три – пять часов работать в полную силу.

– Вы считаете истинное служение искусству схимой?

– Отдаться страсти – это не схема. Разве влюбленный, живущий одной любовью – апостол? Просто – прочие ценности отходят, исчезают, нет на них ни желания, ни сил, ни особого интереса.

– То есть литература должна захватывать писателя целиком?

– Нет рецептов. Но если чутко прислушиваться к себе – работать в наилучшей форме, в наилучшее время, – то график работы начинает ползть по суткам непредсказуемо; твоя коммуникабельность делается как бы полупроводниковой: хочешь видеть кого-то только по собственному настроению, сам заранее не зная когда. Превращаешься в деспота, эгоцентриста (психически нездорового, в сущности, человека). Здесь не каприз, – это подчинение господству той силы, что делает тебя творцом... Рвутся дружеские связи, рушатся деловые: ты не в состоянии сделать ничего в заранее обещанное время, ничего, к чему не лежит душа, – раб своего состояния и своей работы, счастливый и сильный свободный раб; любая отвлекающая в перспективе надобность мешает, приводит в злобу, изгоняется вон...

Ведь писать имеет смысл только максимально хорошо. Значит, нужны оптимальные условия. Хотя помехи могут помогать: успешнее сосредоточиваешься на работе при возможности.

– А что, для Вас, самое скверное в работе писателя?

– Ничего нового: зависть и злоба коллег. Они неизбежны и естественны. Человек стремится к самоутверждению. И мерит себя относительно других. Большой писатель самым своим существованием затеняет меньших. Быть вершинами хотят многие. Можно подняться выше всех – а можно выкосить всех, кто выше или вровень с тобой. Чаще используют оба способа. Здесь та же борьба за выживание, и побеждает сильнейший. Большой талант должен поддерживать себя большой жизненной силой и устойчивостью. Недаром официальных постов и почестей добиваются обычно заурядные писатели, но стойкие, цепкие, умелые борцы в жизни.

– Кого Вы считаете первым писателем двадцатого века?

– Говорят, когда Гюго спросили, кого он считает первым поэтом Франции, он долго кричал, морщился и наконец пробурчал: «Вторым – Альфреда де Виньи». (*Легкий смех в зале.*)

– Хорошо: Ваши любимые писатели?

– Чем больше знаешь, тем менее категоричен... В первую очередь – Эдгар По и Акутагава Рюноске. Из современных мне ближе прочих был Уайлдер. Есть еще один автор гениальной

прозы о средневековом Востоке, но его фамилия вам мало скажет. Вообще я традиционен во вкусах: предпочитаю классику.

– Ваш любимый роман?

– «Война и мир».

– Что Вы в основном читаете?

– Я мало читаю. В основном перечитываю. Учиться надо у великих, и соперничать с ними.

Вообще не причисляю себя к интеллектуалам: чужое знание – исходный продукт и топливо для собственной работы. Что толку знать много, если не создашь ничего достойного сам.

– Но так можно создать деревянный велосипед?

– Минимум знаний необходим. Но я не хочу посвятить жизнь исчерпывающему изучению форм и видов шестеренок вместо создания велосипеда.

– Если взять Ваши вещи – они такие разные?.. А каково же Ваше лицо? Читателю хочется это знать.

– Читатель что, жениться на мне собрался? Или только читать? Творчество, человек, жизнь – многолики. И если ты умеешь видеть – каждый лик находит в тебе собственное соответствие. Нельзя изобразить лик Истины, утвердив примат одной ипостаси и отвергнув остальные.

– У Вас есть любимый жанр в литературе?

– Роман – это авианосец литературы. Рассказ – торпедный катер. Мощь разная... Но катер проскочит по рифам и мелководу, где нет хода судам крупнее. Он может решить многое; а свое искусство, скорость, риск – хороший катерник не променяет. Я люблю рассказ...

– Чем же Вы объясните свою литературную эволюцию?

– С годами размышление преобладает над чувством; накапливается опыт, утишаются страсти, нервы не тянут прежних нагрузок. Стихи – эссенция страстей в мастерстве условной формы – уступают место прозе; лаконично-многозначный, стилистически напряженный рассказ – переходит в более спокойные, описательные и рассуждающие повесть и роман. Так ищут приключений и открытий в молодости, свершений и достижений в зрелости, покоя и преемников знаний – в старости.

Конкретно же – в двадцать лет я решил, что рассказ как таковой пора завершать. В тридцать я свел каркас купола, венчающего новеллистику, и позднее обшил его полностью. В тридцать два я решил, что основные представления обо всем на свете – что вообще несколько выше литературы – тоже пора завершать. Что и сделал.

– Вопрос от рекламы: Ваш любимый напиток?

– Чай.

– Да нет, спиртной! (*Смех в зале.*)

– Русская водка. Иногда. Когда не работаю.

– Ваше любимое блюдо?

– Мясо. Много. Хорошее. Жареное.

– Сколько раз Вы были женаты?

– А вы? Я не кинозвезда: рост, вес, талия не интересуют?

– Есть мнение, что Ваши произведения излишне усложнены. Предмет литературы – в первую очередь душа человека, так? Не лучше ли без формальных ухищрений просто открыть душу, сказать свое, собственное, сокровенное, затронуть читателя до глубины сердца – чего ж еще? Лучше кого-то или хуже, оригинально или обыкновенно – не важно!.. главное – свое выразить.

– Выражаю свою скорбь: всю жизнь слышу этот смешной вопрос.

Чтобы выразить свое, надо а) иметь свое; б) суметь его выразить. Хрестоматийная истина: всякое искусство условно. Чувства и мысли выражаются условными средствами искусства.

Читатель «не замечает, как это сделано», если уровень читательской культуры совпадает с уровнем писательской – т. е. они говорят на одном языке. Иначе – ярлыки «примитив» или «заумь».

Является ли индийская киномелодрама, вышибающая у зрительного зала слезы из слезных желез (или из души, если вам угодно), высоким искусством? Или кинокоммерцией для масс?

Для одного – трагедия, для другого – банальность. Для одного – шедевр, для другого – смутная ерунда.

Школьный тезис: форма и содержание едины: содержание воплощается в форме. Буквы, слова, язык – уже условная форма для выражения информации. Но язык литературы несколько сложнее языка букваря. За фразой «Не важно, какая форма! чтоб и не замечать ее!» обычно подразумевается форма, естественная для высказывающегося – банальная, наиболее легко доступная. Забывают: некогда и такая форма была новаторством, революцией в искусстве, поводом к схваткам. В чем преимущество банальной формы над блестящей?

– Одна – для знатоков; другая – для всех. Почему Ваша беллетристика – для избранных, а Книга – для всех?

– Одно – искусство в его системе эстетических законов; другое – философия, очищенная от шелухи терминов и внутринаучных нагромождений: она задумана именно как проповедь для всех, отмытая и приготовленная к употреблению мысль.

– Оправдывает ли себя оригинальничанье любой ценой?

– В искусстве, как и во всем, остановки нет. Злоупотребление формой – это та часть пути в тени и низине, которую литература неизбежно должна пройти, если хочет выйти на новые вершины. Отказ от поисков новых форм – это лишение литературы перспектив ради сиюминутной прикладной выгоды: денег, рекламирования, успеха.

– А чем плохи старые вершины, чтоб от них уходить?

– А чем плоха молодость, что от нее уходят в старость? Есть один способ не стареть – умереть молодым. Эпигоны создают в литературе юноподобные трупы, которых водят за ниточки наподобие марионеток. Старая, рожают детей: с ними придет молодость.

– Вы приветствуете то, что именуется «модернизм»?

– Нет. Ошибочное не есть новое. Но не ошибается тот, кто не живет. Живая мышь лучше мертвого льва.

Какая бы система символов ни была принята в искусстве, каков бы ни был в нем «коэффициент условности», с которым писатель отражает жизнь, трансформируя изображение через свою творящую личность, – остается понятие, которое я называю «уровень хлеба».

«Уровень хлеба» – это буквальное отображение жизни в формах жизни, с копированием один к одному: это та линия отсчета, от которой развивается искусство и от которой оно не оторвется, как бы ни удалялось. Слезы и смех, счастье юности и скорбь старости, любовная страсть и ужас смерти – изображенные фотографически, безыскусно скопированные с натуры, – всегда будут в общем понятны и окажут какое-то воздействие на человека, даже вовсе темного и неразвитого эстетически.

Жизнь первична, искусство – производная от нее. Натурализм – голая земля, на которой возводятся дворцы искусства: они надстраиваются и совершенствуются, выходят из моды, оставляются и рушатся – сменяясь другими, возводимыми на той же земле.

Достижение литературой натурализма – это познание себя. Возвышение литературы над натурализмом – это совершенствование себя. Натурализм – та печка, от которой танцует литература: приемы меняются, жизнь остается. Натурализм – жив всегда. И нужен.

– Почему Вы тогда не натуралист?

– Потому что по достижении натурализма сущность искусства в том, чтобы преодолевать натурализм условными приемами – обогащающими, изошряющими, осмысляющими его. И пусть художника занесет до ненужных ребусов и наивной пачкотни – но таков путь...

– Вы постоянно противоречите себе?!

– Не более, чем любящая мать, которая наказывает ребенка для его же блага и после плачет от боли за него. Чтобы увидеть и понять предмет во всех его противоречиях, необходима смена ряда точек зрения. Иначе вы уподобляетесь тем трем слепцам, которые пощупали слона за хвост, ногу и хобот и устроили жаркую дискуссию: на что похож слон.

– Так все-таки изошренность и блеск формы мешают содержанию?

– Этот вопрос принадлежит мещанину, узнавшему, что он всю жизнь говорит прозой. А рифма и размер не мешают поэзии? Вот уж условная форма, без которой это искусство не существует. Не кастрируйте прозу до уровня обыденного трафарета.

– Вопрос для нашего еженедельника: Ваше хобби?

– Хобби – для тех, кого не устраивает их работа. Меня моя работа устраивает. Если я люблю женщин и путешествия, это нельзя считать хобби, верно? Наверное, я просто люблю жизнь.

– У Вас бывали творческие кризисы?

– Постоянно: я не успеваю отрабатывать и половины замыслов, которые постоянно возникают.

– Вам знаком пресловутый страх перед чистым листом бумаги?

– Бред. Всегда рад его испачкать. Я люблю писать. Не понимаю тех, кто «за уши тащит себя работать». Не хочешь – так и не пиши. Мне всегда приходится за уши оттащить себя от работы – чтоб восстановить до завтра силы работать дальше.

– В Вашей бурной биографии, очевидно, Вы почерпнули много сюжетов, идей, случаев; какие наиболее характерно отразились в Вашем творчестве?

– Пустое... Если меня мотало по свету, по разным работам, – это просто жажда жизни. Старая истина: приключения, любовь, творчество – это одна и та же жажда, просто утоляемая разными напитками.

Я никогда не ездил «за материалом», «за сюжетами». Жил, зарабатывал на жизнь, познавал что-то новое. Метод «приехал – увидел – спел» не заслуживает серьезного разговора: я не уважаю импотентов от творчества, чьи мозги неспособны выдать замысел.

Произведение рождается из диалога ума и сердца. Писатель – это блуждающая фаза, обнаженный высоковольтный провод: достаточно малейшего контакта с чем угодно – и вспыхивает дуга. Есть напряжение – годится и щепка, нет его – не поможет и железная гора, один пшик выйдет. А внешние события могут послужить лишь толчком – но никогда не основой той коллизии идей и чувств, которая есть суть произведения. Кроме того, при физической работе в тяжелых условиях интеллект как бы закукливается, притупляется чувствительность, размышления уходят, уступая место действиям.

Вот когда идея, внутреннее построение вещи родились – то ищешь адекватный материал для воплощения идеи в форме. Тут опыт помогает: среди знакомых реалий и находишь землю обетованную, которая становится родиной для твоего произведения.

– Ваши творческие планы?

– Завидую Шекспиру: писал в лучшие свои годы, а после умер на покое достойным частным лицом... Работать надо.

– Традиционный вопрос: почему Вы пишете?

– Это моя форма существования. В этом я нахожу максимальное применение всем силам ума и души. Знаниям. Желаниям. Это удовлетворяет мое честолюбие, в этом я самоутверждаюсь. К этому я, видно, наиболее пригоден. И еще это мне здорово нравится.

– Над чем Вы сейчас работаете?

- Никогда не спрашивайте о трех интимных вещах: с кем он спит, на какие деньги живет и что ест. Если кто болтает об этом сам – дело его. (*Чье-то ржание в зале.*)
- А как Вы сами оцениваете свое творчество?
- Это один из тех вопросов, на которые не существует верного ответа.
- Критики находят у Вас много недостатков; как Вы к этому относитесь?
- Есть старая цыганская пословица: «Удаль карлика в том, чтобы высоко плюнуть».

4. Оценка

Гудение в кулуарах: дым сигарет, решение вопросов, бар, приветствия, мелькание лиц.

- Видал я высокомерность, но такую...
- Какова самоуверенность! Пророк Господен!
- Для самоуверенности есть другое имя – знание.
- Он в эстетике дикарь! Важно нам вещал букварь.
- Ну, критики дикари точно такие же; тот же уровень...
- Знаем мы это проведение кампании по добыванию Премии... этот у самого черта рога вытянет: умеет обдeldывать дела.
- ...нет ничего в его книгах, по совести-то говоря.
- Просто ловкий шарлатан. Он же смеется над всеми!..
- Венчайте индюка королем – и получите портрет этого парня.
- И умрет он не от скромности.
- А кто от нее умирал?
- Э, сегодня у него День головокружения от успехов; пусть потешится.
- Да он всегда такой – нагл, как фараон.
- Не-е, когда-то он держался таким скромнягой. Тихоня ползучий, где – тихой сапой, а теперь – так просто танком прет. Вовремя его придавить надо было. Хитрюга поганый.
- Я помню, как он втирался к сильным мира сего. Без мыла! Виртуоз! Под-донок...
- Чего ты пыхтишь – он что, чье-то съел? И правильно делал. Теперь он – герой на белом коне, а мы – шавки.
- Меня попрошу с обществом не смешивать.
- Есть какие-то рамки приличий, нет? Одно самолюбование!..
- А, все писатели мнят себя гениями, так этот хоть не лицемерит. От собратьев он отличается лишь честностью. Дает заглянуть в их душу, открывает ее без прикрас и кулис: смотри, знай! В чем его обвинять – в откровенности?
- Знакомство-то полезно, да самообнажение неприлично...
- Привет ханжам и конформистам!
- Интересно, какую жену он благодарил: первую, вторую или третью?
- «Соблазнитель», видите ли... Он основательно предавался изучению описываемого предмета, говорят...
- Ему хорошо... Когда он писал все это – нищета, видите ли! – семью-то кормить не надо было...
- Вот в этом ему можно позавидовать.
- Но что удивительно: умудрился связать воедино все давно известные вещи и создать впрямь новую Библию. Которую читают – все! И черт знает какая мудрость в ней; душу он за нее продал, что ли?..
- Удачлив, сволочь. Только и всего. Где другие всю жизнь пахали – он пришел, копнул в сторонке, и пожалуйста. Дуракам всегда везет.
- Широкий успех – признак банальности общедоступной книги.

- Все понимаю – но почему он? Есть же действительно хорошие, настоящие писатели...
- М-да, не талантом входят в литературу, а пробивной силой...
- А куда входят не пробивной силой?
- А я вот никогда не умел идти по головам! И не хотел!
- Ну так и молчи теперь, чего ты дергаешься.
- Но как он многословен! Покрасовался, болтун. Самоучка.
- Так он ведь к самоучкам и обращался.
- Слишком заумно все это для газеты и читателей.
- Отредактируешь, адаптируешь, причешешь: а ты на что.

5. Кумир

Толпа у входа. Бездельники в жизни – возбуждены страстью престижного зрелища: молодежь, взвинченные женщины, дамы старой полубогемы, пестро и буйновато.

- Как жить?
- Ходить по путям сердца своего: счастливо.
- А что такое счастье?
- Жить в полную силу своей души. Ничего не боясь.
- А Вы чего-нибудь боитесь?
- Нет. Мудрый человек может лишь чего-то хотеть, а чего-то не хотеть.
- Ваш главный жизненный принцип?
- Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
- Каким должен быть идеал человека?
- Идеал человека – ангел... Наверное – нормальный здоровый человек, уверенный в себе, который хорошо делает все, за что берется, и никогда не хнычет. Вообще я вполне приемлю людей, какие они есть: правда жизни истиннее оценок и схем.
- Тогда почему Вы так высокомерны? (*Замирает от дерзости.*)
- Я был скромн: мне норовили наступить на голову.
- Вы злой! Почему Вы злой? (*Пытаются оттащить нахалку.*)
- Злой лучше работает. Злость помогает выстоять, она – резерв энергии, ищущей выхода. Злость – это запас силы.
- Разве доброта не лучше злости?
- Доброта – умение проникнуться нуждами другого; она позволяет понять другого. В действии она неспособна преодолеть встречное сопротивление, подавить чужой враждебный интерес, не поддавшись ему: это отсутствие сильных страстей и целей, слабость и безразличие души. Доброта – чтобы понять, злость – чтобы совершить.
- Писать ли мне?
- Если вы спрашиваете об этом – то нет.
- А Вы правда все знаете?
- Правда. Я говорю о качественном знании, а не о количественном. Как печь хлеб – расскажет любой пекарь, но смысл и всеобщие связи этого процесса ему неизвестны.
- А не скучно все знать? Не тяжело?
- Отнюдь. Необычайно интересно. Тяжела скорее чужая тупость.
- А Вы бы хотели снова стать молодым?
- Я достаточно уважаю себя, чтобы не желать ничего изменять в своей жизни.
- А в каком возрасте Вы бы остановились, если б пришлось выбирать?
- Тридцать два. Уже все знаешь, еще все можешь и хочешь.
- У Вас есть неисполненные желания?

- Нет. Но постоянно возникают новые.
- Вы во что-нибудь верите?
- В победу.
- Любой ценой?
- А разве бывает победа иной ценой?
- Вы сомневаетесь в себе когда-нибудь?
- Нет. Иногда сомневаются другие. Пусть не сомневаются.
- Как стать великим? Таким, как Вы?
- Кто спрашивает – не станет. Перечтите «Если...» Киплинга.
- Вы что, железный? Без слабостей и привязанностей?
- Да – так и тянет ответить в ваши восторженные глазки. Ерунда это все... Творят кумира, услаждая возбужденное воображение – это доступней и приятней, чем понять просто человека. Я из сплава покрепче, только и всего.
- Вы верите в любовь?
- Только убогий душой не знает ее.
- А что делать от несчастной любви?
- Добиться взаимности. Умереть. Хранить ее. Влюбиться снова. Но никогда не спрашивать совета.
- Вам нравится современная молодежь?
- Мне нравится и не нравится в ней то же, что и в обществе в целом: просто в молодежи все это ярче проявляется.
- А современные моды?
- Природа моды исключает споры: престижный момент, вечное обновление, условность дозволенного; все красиво по-своему.
- У Вас есть враги?
- Я не так ничтожен, чтобы не иметь их – и много.
- Что вы о них скажете?
- Дадим им копоти!
- Прощать ли врагам?
- Не считать их за людей. Давить при надобности и забывать. И обращать их действия себе на пользу.
- А нужно возлюбить врага?
- Сильного и умного врага уважаешь. Понимаешь его. Учишься у него. Можешь ему сочувствовать и даже его любить. Но это не должно помешать переступить через него – а лучше через его труп.
- А друзья у Вас есть?
- Поклонение не дает права на бесцеремонное копанье в душе.
- А что, если друг стал врагом?
- Горе побежденным.
- А если побежден ты?
- Не скули и готовь реванш.
- Вы циник! (*Настроение толпы меняется – она уязвлена.*)
- Я просто честен и умен.
- Вы жестоки!
- Я честен и силен.
- Вы эгоист!
- Я обязан делать свое дело. Кроме меня его не сделает никто.
- А кому оно нужно?
- Мне. Но и вам: у нас одна культура и история на всех...

- Ваше самолюбование мерзко.
- Так зачем вы на меня смотрите? Я не стыжусь себя: честно говорю то, что другие ущемленно и спесиво лелеют в тени своих липких душонок, боясь обнажить их хилое уродство.
- Что такое труд?
- Деятельность, имеющая результатом материальные блага.
- Благословите меня!
- Не блажите: рад бы в рай, да грехи не пускают.
- На Вашей совести есть грехи?
- Для начала тут надо иметь совесть... Есть. И много. Я не боюсь их. Хотя для таких, как я, грехи не существуют. Я прагматик. А истина вне морали. Есть лишь суть вещи, действие, следствие и плата.
- Как Вам удалось выстоять?
- Удары сыпались на меня со всех сторон, пока однажды я не обнаружил, что откован в клинок.
- Какой возраст Вы считаете лучшим для писателя?
- Для прозаика – двадцать девять – сорок шесть. Взгляните в мировую литературу: исключения единичны.

6. Свой парень

Дым коромыслом: компания в ресторанчике, куда она перебралась после помпезного банкета: веселый цинизм, хмельная откровенность, дружеские издевки.

- Итак ты велик, богат и знаменит. Комнаты для гостей есть?
- Как обещано. В любое время. Условие одно: никаких умных разговоров.
- Ты не безнадежен: узнаешь старых друзей. (*Хлоп по плечу.*)
- Вся эта никчемная ерунда хороша одним – можешь что-то сделать, доставить удовольствие тем, кому хочешь...
- Ну ты порезвился! Дал им копот!
- А, пустой трюндеж. Если б господь бог не хотел, чтоб им хамили, он бы не создал их холуями.
- Напишу мемуары: «Мой друг – Зевс». (*Чокаются.*)
- А, иначе лакеи станут и Зевса учить величественным манерам.
- Не притворяйся, что тебе это все неприятно. Ты ведь с юности мечтал об этом.
- Кто не мечтал. И денег, и женщин, и любви, и славы, и благополучия, и приключений. И при всем еще счастья. (*Хмыкает.*)
- Ну, вот ты все и имеешь. Прорвался. Со стальной ложкой.
- И уплатил цену нищеты и унижений.
- Червями ползут многие, а вот доползти, чтобы взлететь орлом... Пардон, молчу. Зато теперь ты испытал все.
- Привычки нищеты въедливы, уродуют. Приниженность, зависимость от имущих, крохоборство, заикленность на деньгах – на грошах.
- Не ты ли проповедуешь полноту жизни? фарисей.
- Все одно – горе не мед. Его память обсахаривает.
- Тебя уже коллеги официально обсахарили, как марципан.
- Хочешь пососать? (*Хохот.*) Они уже вылизали. Шайка идиотов. Когда-то мне хотелось купить вагон калош – чтоб эти наглые холуи носили их за мной в зубах.
- Так купи теперь. Понесут!

– Потом я научился не воспринимать их как людей. Шахматные фигурки. Самоходное удобрение для моей грядки.

– Все?

– Нет. Нескольких я действительно уважаю.

– Ты гнусный карьерист; хочу брать у тебя уроки.

– У пирога одна верхушка, а у каждого едока по ножу. Чтоб занять свое место, нужно многих поставить на их места.

– А помнишь, ты говорил: «Стану когда-нибудь отъявленным негодяем»?

– Обещано – сделано! (*Хохот.*) Ребята, так охота быть добрым.

– Кто тебе не дает?

– Руки на стол! – дайте мне заплатить, ладно?

7. Милый-дорогой

Люкс в отеле: ночное окно, смятая постель, пустая бутылка, два силуэта.

– Я хочу знать о тебе все...

– Всего я сам о себе не знаю.

– А как ты начал?

– Кому это интересно... В тринадцать лет с лучшим другом мы болели «Тремя мушкетерами»; размышляли о жизни в развалюшке на задворках – школьным мелом написали на ней «Бастион «Сен-Жерве». Он и высказал: хорошо изобрести машину, чтоб видеть человека насквозь... А я сказал – ха: вот видеть человека насквозь без всякой машины...

С детства хотел я понимать каждого. И я стал понимать. И душа моя прониклась душой любого человека, его бедами и нуждами.

– Ты добрый. А в глубине злой. А в самой глубине совсем добрый...

– Я был добр. Совесть мучила меня всегда: в малейшей несправедливости, в каждой боли мира – была моя вина. Вина причастности и бессилия изменить.

Каждому отрезал я от любви моей.

И остался в ничтожестве. Своим мясом всех собак не накормишь.

– Неправда. Ты прожил настоящую, красивую жизнь.

– Многое кажется красивым, если это не с тобой сейчас. А когда болят зубы, и воняет изо рта, и нет денег на врача... Когда нечего жрать, и в долг никто уже не дает: «Ты знаешь, старик, я сам сейчас на мели...» – и глаза в сторону. Крадешь объедки в закусочных, кланчишь мелочь на улицах – «на метро», «на телефон». Когда готов отдать любимой женщине жизнь, но не можешь купить ей цветок.

– Как ты смог все это вынести...

– Мне было двадцать восемь – когда однажды ночью я перешагнул.

Я жил в конурке с окном на мокрые крыши, жрал один хлеб и писал. Я смеялся над нищетой в романах: «Бутылка молока», «кусоч колбасы»! Хлеб, кипяток, дешевое курице, – месяцами; годами. Но я писал то, что хотел! И не мог писать так, как хотел. По три дня искал слово! Три недели делал страницу. Был здоров, как колокол – а сердце болело. Если к концу рабочего дня оно не ныло – я ощущал себя самообманщиком.

И вот ночью, в осень, бродя под дождем в поисках фразы, я не то чтобы сказал себе, нет: внутреннее чувство оформилось в решенное осознание: я сдохну в дерьме под забором, но я буду писать так, как я хочу и должен.

И перевалив этот рубеж – стало легко. Просто. Не осталось в жизни ничего страшного. Я спокойно отыгрывал любой, малейший шанс – из глубины падения, куда я мысленно уже лег сам, добровольно. Мне было нечего терять. Путь мог быть только вверх.

Там, ночью, на дождливой площади у гранитной колонны, была моя настоящая победа. Остальные пришли сами.

8. Гамбургский счет

Рассветное шоссе, летящий «мерседес», руки на руле, сигарета в сжатых зубах. Смесь пьяного полубреда с не то аутотренингом, не то головокружением от успехов: приступ мании величия.

«Суровое величие

Высеченный гранит

Железный чекан

Надменность и сталь

Сила и победа

Уверенность и спокойствие

Жестокость и непреклонность

Холодное пламя успеха сжигало меня

Я супермен

Я железный

Я все могу

Я делаю невозможное

«Суровое величие

Высеченный гранит

Железный чекан

Надменность и сталь

Сила и победа

Уверенность и спокойствие

Жестокость и непреклонность

Холодное пламя успеха сжигало меня

Я железный

Я супермен

Я все могу

Я делаю невозможное

Ну что, загнули мне рога? Фигу вам всем! Мелочь пузатая. Не верю в экстравертов. Что болит – того не трогают. Сокровенного не выставляют. Слез моих хотели? души? хрен! Ничто меня не волнует. Ничто не трогает. Ни в чем не дрогну.

Да! – и плакал, и молился, в черном отчаянии гибнул, самое дорогое терял – да не надломился ни в чем. Не в том дело, чтоб не падать, а в том, чтоб тысячу раз упав – встать тысячу один.

Я уплатил по всем счетам. Все ухабы на дороге пересчитал собственной мордой. Эти шрамы – моя биография.

Я въехал на белом коне! – пусть это Конь Блед. Тяжелы мои глаза, жестоки мысли, тверда и безжалостна душа. И истина мира ясна мне, и впору мне ее груз. *(Прибавляет газ – спидометр на 130.)*

Да! – я прошел с хрустом по головам, шелкая людей, как орехи. Прочь с пути, – я шел за своим: добыча тигра не по зубам шакалу. Нет преступления и нет подвига, которых я не совершил бы и не пережил в душе моей. Нет доблести и порока, неизвестных мне. Душа моя выжжена. Холодное пламя успеха выжгло ее. Стальной клинок на ее месте. И кровь не пристала к нему. *(140 км)*

Умом и напором, волей и хитростью, жестокостью и любовью, делая все возможное, а потом еще столько, сколько надо. Воля и страсть. Не отступать.

Опасно? – шаг вперед!

Сомнение? – шаг вперед!

Риск? – шаг вперед!

= *(Визжат шины на вираже.)*

Чертовы друзья, заявляющие на тебя права, лезущие когда надо и не надо с услугами и требующие близости взамен. Безмозглые любовницы, постельные трутни, лелеющие выдуманное чувство, урывающие денег, или тела, или души, или жизни, несущие себя в подарок именно тогда, когда тебе этот подарок – как булыжник в стекло. Сявки, паразиты! Если я вам нужен – приходите тогда, когда я сам позову вас. *(Вихрем проносится встречный грузовик.)*

Мощное, ровное, неотвратимое движение вперед.

Был я человек. А стал – инструмент в руках божьих и дьявольских. Душу продал, кровью расписался – в ту дождливую ночь.

Для таких, как я, справедливости не существует. Жрут, как могут. Так сломай зубы гадам. Да! – тысячу раз я умирал, стиснув зубы на плотке врага. *(180 км)*

Я должен был – и я дошел. Я смог. Один из всех. Супермен. Авантюрист. Танцующий убийца. И только по-моему. Только так может быть. Не могло быть иначе. Только так».

Положение во гроб

Усоп.

Тоже торжество, но неприятное. Тягостное. Дело житейское; все там будем, чего там. (Вздых.)

Водоватов скончался достойно и подобающе: усоп. Как член секретариата, отмаялся он в больнице Четвертого отделения, одиночная палата, спецкомфорт с телевизором, индивидуальный пост, посменное бдение коллег, избывающих регламент у постели и оповещающих других коллег о состоянии. Что ж – состояние. Семьдесят четыре года, стенокардия, второй инфаркт; под чертой – четырехтомное собрание «Избранного» в «Советском писателе», двухтомник в «Худлите», два ордена и медали, членство в редколлегиях и комиссиях, загранпоездки, совещания; благословленные в литературу бывшие молодые, дети, внуки; Харон подогнал не ветхую рейсовую лодку, а лаковую гондолу – приличествующее отбытие с конечной станции вполне состоявшейся жизни.

Газеты почтили некрологами; Литфонд выписал причитающиеся двести рублей похоронных; и гроб, в лентах и венках, выставили для прощания в Белом зале писательской организации.

К двенадцати присутствовали: от правления, от секции прозы, от профкома, месткома и парткома, от бюро пропаганды и Совета ветеранов; посасывали валидолы одышливые сверстники, уверенно разместились по рангам и чинам сановные и маститые; подперли стенку перспективные из Клуба молодого литератора, привлекаемые в качестве носителей гроба (лестница). Родня блюла траур близ изголовья бесприметно и обособленно.

Минуты твердели и падали; в четверть первого выступил вперед и встал в головах второй (рабочий, так называемый) секретарь Союза, Темин, с листком в руке. Склонением головы обозначив скорбь, он выдержал паузу, давая настояться тишине, явить себя чувству, и профессионально открыл панихиду:

– Товарищи! Сегодня мы прощаемся с нашим другом, коллегой, провожаем в последний путь замечательного человека, большого писателя и настоящего коммуниста Семена Никитича Водоватова. Всю свою жизнь, все силы, весь свой огромный талант и щедрую душу Семен Никитич без остатка отдал нашей Родине, нашему народу, нашей советской литературе.

Семен Никитович родился... («Совсем молоденьким парнишкой впервые переступил он порог редакции», – взглядом сказал один маститый другому. – «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», – ответил взгляд.)... В сорок девятом году Семен Никитович выпустил свой первый роман – «Стальной заслон», тепло отмеченный критикой, и был принят в ряды Союза писателей СССР...

И еще пять минут (две страницы) освещал Темин творческий путь покойного, завершив усилением голоса на вечной памяти в сердцах и высоком месте в литературе.

Следом поперхал, оперся тверже о палочку Трошенко и в мемуарных тонах рассказал, каким добрым и интересным человеком был его старый друг Сема Водоватов и как много и упорно работал он над своими произведениями. И такое возникло ощущение, что Трошенко словно прощается ненадолго с ушедшим, словно извиняется перед ним, что из них двоих не он первый, и слушали его с сочувствием, отмечая и ненарочитую слезу, и одновременно инстинктивное удовлетворение, что он переживает похороны друга, а не наоборот.

Некрасивая, условно-молодая поэтесса Шонина вцепилась коготками в спинку ампирного стула и продекламировала специально сочиненные к случаю, посвященные усопшему стихи; стихи тоже были некрасивые, какие-то условно-молодые, со слишком уж искренним и уместным надрывом, но все знали, что Водоватов ей протезировал, звонил в журналы, даже

одалживал деньги – из меценатства, без оформленной стариковско-мужской корысти, и это тоже производило умиротворяющее, приличествующее впечатление.

И долго еще проповедали о человечности и таланте Водоватова, о трудной, непростой и счастливой его жизни, о замечательных книгах, несвершенных замыслах и признании народом и государством его заслуг.

Церемония двигалась по первому разряду. Как причитали некогда кладбищенские нищие, «дай Бог нам с вами такие похороны».

Полтора человека надышали в зале, содея и мякнув от элегических мыслей о смерти и вечности, от сознания, что достойно отдадут человеческий и гражданский долг покойному, выискивая и лелея печально-светлые чувства в извитых душах деловых горожан; время панихиды рассчитали грамотно, чтоб не успели перетомиться скукой, – но, как вечно ведется, речи затянулись, прибавлялось ораторов сверх ожидания, намекалось на сведение старых литературных счетов – перетекало в разновидность обычного и беспредметного собрания; по шестеро натягивая на рукава черные повязки, в шестую уже смену менялись в почетный караул у гроба, а в задних рядах поглядывали украдкой на часы, и все соображали, когда вернутся с кладбища и не сорвутся ли вечерние планы...

Уже вытирали пот и завидовали тем, кто толпился перед входом на лестничной площадке, не поместившись в зале, и там теперь имели возможность курить и тихо переговариваться.

И уже поднимался снизу водитель одного из автобусов и со спокойной грубоватостью человека рабочего и профессионала спрашивал у распорядителя похорон очеркиста Смелгинского, когда же наконец поедут, и уже председатель похоронной комиссии пышноусый научно-популяризатор Завидович кивнул коротко Темину и собрался показать рукой, чтоб разбирали нести венки, а молодым литераторам поднимать гроб, когда из настроенной к шевелению толпы выделились двое и подступили к Завидовичу с интимной деловитостью посвященных.

Тот, что помоложе, в официальном костюме и с официальным лицом, отрекомендовался нотариусом и известил вполголоса, что имеет место завещание покойного, и воля его – огласить в конце панихиды письмо-прощание Водоватова к коллегам. В доказательство чего открыл номерные замки дипломата и предъявил заверенное завещание.

Второй же, старик в черной пиджачной паре со складками от долгого пребывания в тесном шкафу, на вопрос: «Вы родственник... входите в число наследников?» – ответил не совсем впопад: «Нет, я его друг... по рыбалке, и на Шексну ездили, и везде... говорили обо всем... много». Дискант старика срывался, выглядел он волнующимся, неуверенным...

Темин приблизился, также ознакомился с завещанием и сразу выцелил, что старику, Баранову Борису Петровичу, отказывается две тысячи рублей, при условии, что он выполнит неукоснительно последнюю волю покойного и прочтет над гробом его последнее обращение к коллегам.

Н-не хотелось Темину это разрешать... но и отказать было невозможно, да и причин не было; он повертел плотный желтоватый конверт, запечатанный алым сургучом с Гербом СССР, вручил Баранову и разрешающе кивнул: давайте, мол, но скорее, время поджимает.

Старик подержал конверт и стал ломать сургуч, кроша.

Темин, выдвинувшись, объявил:

– Товарищи! Семен Никитич, помня обо всех нас, перед смертью попрощался с нами. Есть его прощальное письмо. Прочесть его он поручил своему другу, личному другу... (выслушал подсказку нотариуса за спиной) близкому, старому другу Борису Петровичу Баранову. – И отступил.

Старик шевельнулся на пустом пространстве, помедлил, посмотрел в спокойное мертвое лицо с натеками подле ушей и протянул руку, коснулся плеча покойника живым, отпускающим и успокаивающим жестом.

Развернул бумагу, моргнул, неловко одной рукой принялся извлекать очки из очешника и пристраивать на нос.

И наконец, прерывисто вздохнув, вперившись в строчки, спертым пресекающимся голосом произнес невыразительно:

– «Поганые суки.

Ненавижу вас всех. Ненавижу.

Подонки. Бездари. Грязь.

Чтоб вы сдохли скоро и в муках.

Воздаст Господь каждому по его делам, воздаст».

Разверзлась пропасть, весь воздух вдруг выкачали, и далекий рассудок бил на дне агонизирующей ножкой.

Кучка молодых забыла считать сотысячные гонорары усопшего, чем занимала себя последние полчаса.

Старик Баранов капнул потом на лист, выровнял дух и продолжал чуть громче:

– «Покойник здесь я. Я здесь сегодня главный. А потому будьте любезны слов моих не прерывать: даже у дикарей последняя воля покойного священна. Надеюсь, даже вашего непревзойденного хамства и легендарной подлости не хватит на то, чтобы сейчас заткнуть мне рот. Хотя вам не привыкать затыкать рты покойникам, да и вкладывать им, теперь уж абсолютно беззащитным, ваши подлые и лживые слова. Но посмотрите друг другу в глаза, коллеги: кто же еще скажет вам правду вслух?»

Возникло краткое напряжение неестественности: простое желание переглянуться с соседом противоречило неуместности следовать глумливой указке.

– «Как не хотелось продаваться, коллеги мои по грязи и писательству. Как не хотелось писать дерьмо и ложь, чтобы печататься и быть писателем. Как не хотелось молчать и голосовать за преступную и явную всем ложь на ваших замечательных собраниях. Как не хотелось быть в унисон, да не с волками – с гиенами, пожирающими падаль. Как не хотелось соглашаться с тем, что бездарное – якобы талантливо, а талантливое и честное – ошибочно и преступно.

Да – я играл в ваши игры. Потому что тоже не лишен тщеславия и честолюбия, и хотел писать и быть писателем, хотел известности, денег и положения, потому что были у меня и ум, и силы, и энергия, и Богом данный талант – был, был! и я видел, что могу писать много лучше, чем бездарные и спесивые бонзы вашего вонючего литературного ведомства, раздувшиеся, как гигантские клопы, в злой надменности своего величия. Величия чиновников, сосущих соки собственного народа и душащих всех, кто талантлив и непохож.

Ненавижу этих хищных динозавров соцреализма, на уровне своего ящериного мозга обслуживающих последние постановления партии – в любом виде, в любой форме, когда постановления эти издавались бандитской шайкой, тупыми карьеристами, ворами и растлителями.

Что за гениальная мысль – создать Союз писателей! С единым уставом и единым руководством. Штатных воспевателей государственной машины. А еще гениальнее – дома творчества. Вот тебе комната, стол, кровать, горшок, четырежды в день кормят по расписанию, в обед продают водочку, а вечером крутят кино. Гениально! Странно только, что не ходят строем и не поют утром и перед сном Гимн Советского Союза.

Из гроба плюю я на ваш Союз, на ваше правление во главе с мерзавцем товарищем Маркиным, на ваш устав, на ваши гадские спецкормушки и спецсанатории!»

Хрустнула перевернутая страница. Старик проникся текстом и декламировал с выражением. Нетрудно было догадаться, что на своих рыбалках они не раз толковали, отводя душу, глушили водочку и кляли все и вся.

При упоминании Маркина Темин, Завидович и еще ряд руководящих выказали явные признаки беспокойства. Они как-то сориентировались друг к другу, обмениваясь каменными движениями век. Молодежь внимала с вдохновенным счастьем. Скандал перешел последнюю

грань: акция требовала пресечения. Утопления, смазывания, торпедирования, спуска на тормозах. Толпа дышала с выражением готовности осудить.

– «Прошу нотариуса предъявить свидетельства психиатра и невропатолога, что сие написано в здравом уме и твердой памяти. А то с наших ухарей станется объявить это предсмертным бредом больного, я их знаю, негодяев, опыт у них большой».

Дьявольская предусмотрительность покойника смутила руководящих товарищей; Темин растерянно опустил руку, протянутую было к письму, и сделал вид, что говорить ничего не собирался.

В кучке молодых гробоносителей ахнули в восторге.

«Когда государство превращается в мафию, то все государственные институты – отделения мафии. Живущие по законам мафии. Одни прорвались к пирогу и защищают его, как двадцать восемь панфиловцев – Дубосеково, другие рвутся к нему, как танки Гудериана к Москве. Да здравствуют советские писатели – продажные шакалы диктатуры бандитов! Ура, товарищи!»

– Да что же это такое!! – вознегодовала детская писательница Воробьева, взмахнув черными кружевными манжетами. – Александр Александрович! что же вы молчите?! это же политическая диверсия! Откровения двурушни...

– Товарищи, – офицерским непререкаемым голосом скомандовал Темин, кроя гул, – лица, не обязанные по своему служебному долгу присутствовать на панихиде, могут покинуть зал.

Возникло броуновское движение литературных молекул, не пересекающее, однако, черты порога; никто зала не покинул. Скуки не было в помине, глаза горели, интерес глодал, все хотели слушать дальше и досмотреть, чем все это кончится.

Старичок гвоздил:

– «Писатели по работе своей – одиночки, писателей нельзя собирать в кучу, каждый писатель имеет свое мнение обо всем, а если нет – дешевый он писака, а не писатель. А если партийный билет и партийная дисциплина заставляют вас писать то, что велит вам партия – так называйте это партийной пропагандой, но не называйте литературой!»

Да, поздно я понял, что писательство – это крест, а не пряник. Не хватило мне мужества пойти на крест, не хватило! Не смог отправиться в дурдом, в лагерь, в камеру к уголовникам, к стенке: боялся! Боялся быть как бы случайно сбитым грузовиком или оказаться выгнанным ото всюду безработным, которого возьмут разве что грузчиком в магазин.

Ну что, больше всех небось радуется кучка молодых, которых призвали мой гроб тащить?»

Все взоры сфокусировались на молодых. Молодые поперхнулись.

Молодые одеревенели скорбно и оскорбленно даже, тщаь стереть с лиц пред начальством приметы преступного веселья. За спинами кто-то пискнул и захлебнулся, словно рот себе зажал ладонью.

– «Уже давным-давно я не хотел жить здесь. Понимаете? – не хотел!!! Я мечтал жить в тихом городке в Канаде, мечтал провести несколько лет в Париже, в Нью-Йорке, увидеть Рим и Лондон, Токио и Рио-де-Жанейро – не из окна автобуса, не на десять дней с группой Союза писателей вашего долбанного, а сам, сам по себе, сколько хочу и как умею. Почему я не уехал, не сбежал? а потому же, почему еще многие – из-за родных. Мы же все в своем любимом отечестве обязаны иметь заложников и оставлять их дома, чтоб не дай Бог не удрали из нашей первой в мире страны социализма! Все прут от нас туда, а от них сюда – один шпион в три года, так его еще по телевизору показывают.

Я не хотел ваших дрянных постов и должностей, я хотел писать то, что я хочу, и посылать рукописи своему литагенту, и не знать никакого их пробивания. А если не возьмут? заработаю на жизнь ночным портье в отеле и издам тиражом пятьсот штук за свой счет...»

Раздался звучный вздох, произвольный и печальный.

– «Я вообще не ваш, если хотите знать! Да, был я когда-то комсомольским вожачком, был партсекретарем редакции, обличал врагов народа и врачей-убийц... но сывка я был, шестеренка, винтик безмозглый! А потом поумнел... но на апостольство решиться не смог. Но понял, все понял! Я не принимаю ваш строй, вашу партию, и нечего на одного Сталина валить все грехи – диктатура рождает диктаторов! Не Сталин – с самого начала начались концлагеря и расстрелы без суда и следствия, и затыкание ртов несогласным, и разорение умеющих работать; до Сталина начали убивать детей, и попирали закон, и бесстыдно лгать народу для достижения своих политических целей и... какого черта, Солженицына вы и сами читали в самое запретное время, а потом шли на собрания и клеймили его.

На меня плевать, сдох – и ладно, я свое пожил. А вот книги, умершие со мной, ненаписанные, я вам не прощу. Унижений не прощу, когда улыбался, льстил, хлопотал, услуживал, задницы лизал – а иначе не пробиться. Кто пробился иначе, а, дорогие друзья? Кто не подслушивался, не заискивал, не устраивал всячески дружбы с нужными людьми, даже если людей этих презирал и ненавидел? Ну-ка, кто такой благородный – вытряхните меня из гроба! Ну! Пауза».

На последних словах все не то, чтобы задумались... Старичок-Баранов с разгону, видимо прочитал ремарку в этом тексте-сценарии: паузу, наверно, следовало сделать ему и, наверно, посмотреть в зал: не найдется ли, в самом деле, такой благородный, который вытряхнет бесчинствующего покойника из гроба. «И следовало бы, честно говоря!» – неслышно повисло в воздухе над начальствующей когортой.

Взлетевший Баранов честно и теперь даже вдохновенно выполнял свой последний дружеский долг, – или, если подойти иначе, отработывал две тысячи рублей, – весьма весомая сумма для пенсионера, да и не только пенсионера.

– «Хотите знать, что нам нужно? Только одно – многопартийная система. А честнее говоря – отмена запрета под страхом концлагеря на любые политические партии кроме КПСС. Партия, совершившая такие преступления против своего народа, не имеет права, не должна, не смеет оставаться у власти. Сколько было у нас путей – и все ленинские! удивительная геометрия, любой топограф с ума сойдет. И только тогда будет демократия, свободное предпринимательство, открытые границы и конвертируемая валюта. И не будет сволочного Госкомиздата, благодаря координирующей деятельности которого одна и та же книга набирается и редактируется двадцать раз в двадцати издательствах... чтоб он сгорел во главе со своим председателем, держимордой и иудой».

(«Ого! дошел и до общей политической программы!» – «Завешание съезду, а». – «Фига в кармане...» – «Милое, однако, устройство, при котором только мертвые и могут себе позволить... да и то...» – «М-да – уж им терять нечего», – прошелестели шепоты.)

Но оказалось, что мертвому терять очень даже есть чего.

– «Будь прокляты ваши кастрирующие редакторы, ваши анонимные цензоры, ваше страшное и кровавое НКВД-КГБ – вечное проклятие палачам Лубянки! – ваши нищие магазины и заживевшие холуи во князьях, ваше рабское бесправие и всесильная ложь. Я жил среди вас, все делал так, как делаете вы, добился ненужных благ и почестей, которых добиваетесь вы... – но уж хоть после смерти лежать среди вас не хочу я.

Похорон, могил, памятников и речей над свежим холмиком не будет. Хватит фиглярства.

Завещаю свое тело анатомическому театру Первого медицинского института.

Нотариуса прошу предъявить товарищу Темину, второму секретарю писательской организации, – он, я полагаю, возглавляет этот цирк, – если не сбежал еще, бродяга, – ау, Сашок, ты здесь?..»

Темин побагровел, чугуinea массивно. Несколько человек – от входа, из безопасности – заржали откровенно и бессердечно.

– «...предъявить расписку в получении мною от упомянутого театра ста пятидесяти девяти рублей за мои бранные останки и письменное согласие родственников, заверенное нотариально. Ничего, пусть живут счастливо на мои гонорары и смотрят на мой портрет, незачем таскаться вдаль к камню над моими костями, которые мне уже отслужили, пусть теперь хоть медицине послужат.

Панихида окончена, всем спасибо.

А теперь пошли все вон отсюда, к трепаной матери. Я устал, знаете, за семьдесят четыре года, пора и отдохнуть от вас».

Старик Баранов опустил локти, растопыренные предохранительно над письмом, как крылья наседки над цыпленком, письмо аккуратно сложил и поместил в конверт, а конверт перегнул пополам и спрятал во внутренний карман.

Наступила совершенно понятная заминка, неловкая и неопределенная. Вроде и нельзя расходиться, и надо расходиться, и... нет, ну безобразная, идиотская, немыслимая ситуация. И что теперь делать? чем все должно кончиться?

Баранов утирал лицо и шею над размокшим воротничком. Темин гнал блиц-переговоры с Завидовичем. Хоть теперь следовало брать инициативу в свои руки, и немедленно. Естественно, никому не хотелось принимать ответственность за беспрецедентный скандал.

Верх взял, само собой, старший по должности, закончив неразборчивые дебаты категорическим приказанием. Завидович вытянулся «смирно»:

– Товарищи! Ввиду всех обстоятельств и необходимости уточнения деталей всех просят покинуть зал. Просьба покинуть зал! Церемонию считать оконченной, – брякнул он.

Помедлили, и потекли на выход. Оглядываясь, предвкушали перекурить сейчас происшедшее, посмаковать, переложив рюмкой в баре, обсудить и дожидаться конца. Не каждый день, знаете!

– Насколько вообще все это законно? – допрашивал Темин нотариуса.

– Абсолютно, – подтвердил тот с некоторым даже удовольствием. – Медицинская экспертиза, заверенное завещание. Все соблюдено.

В затылок руководящий взгляд обкомовского товарища гнул Темина в подкову.

– Вы понимаете, что это подпадает под уголовную статью? И виновным придется ответить, я вас уверяю!

– Отнюдь; есть заключение юрисконсульта. Никакой пропаганды насилия, свержения, клеветы и нецензурных выражений.

– А публичное оскорбление гражданской церемонии? Этот чтец-декламатор сядет, есть кому позаботиться.

– Судом над Барановым вы раздуете всеобщее посмешище. Прикиньте последствия. Как юрист гарантирую его неуязвимость, максимум – сто рублей штрафа и предупреждение.

– А сколько вы получили за эту мерзость?! – не выдержал Темин.

– Отчеты о гонорах я подаю в коллегия.

– Но можно в чем-то изменить его волю?... это же нонсенс...

– Я обязан проследить и настоять на исполнении закона.

Товарищ из обкома броненосно подплыл и увлек нотариуса в сторону – втолковать.

Белые лепные двери в опустевшем зале распахнулись – по паркету протопали двое ребят в синих коротких пальто с какими-то шеvronами.

– Сюда сейчас нельзя, товарищи!

– Санитары из морга, – заурядно представился один, а второй ткнул мятую справку. – За трупом... вот.

– Не требуется. Кто вас прислал?

– Нас? Начальство. Распорядилось.

Завидович ворковал родственникам. Родственники слушали замкнуто. «...только посмейте... последнюю волю отца...» – злобно отвечал желчный худой мужчина, сын, с ненавистью озирая доброхотов литературного мира. Семья в этой распре обнаружила подготовленное единство. (Заговор! Группа!)

– Вот что, – объявил позабытый на отшибе старик Баранов. – Если вы его сейчас не отдадите согласно завещанию, то у меня заготовлены письма во все инстанции и газеты, и в западные консульства. С указанием фамилий и деталей, и текстом письма. И есть человек, который перешлет. Устраивает?

Похоже, это было правдой, черт ему сейчас не брат, чего ему бояться, пенсионеру, как его прищучишь?..

Матерый литературный волк, опытный интриган и предусмотрительный боец Водоватов с треском выигрывал свой посмертный раунд.

– А вам бы помолчать, – брезгливо уронил Темин. – Продались за две тысячи и теперь счастливы, что их получили. О вашем поведении сообщат куда следует, придется отвечать. Продажный циник...

Старичок коротко просеменил к Темину и с чудной ловкостью всадил ему пощечину. По массивной выскобленной щеке шлепнуло сыро и звучно.

Темин выдохнул и закрыл щеку.

Старичок любовно потрепал покойнику плечо, рек:

– Молодец, Сенька! По Сеньке шапка! Прощай. До встречи! – и поцеловал в губы. От дверей бросил санитарам: «Давайте, ребята, давайте! Ну!»

На лестнице попыхивало, побулькивало обсуждение: что плюнул в лицо, подлец; что двурушник, главное зло, не разглядели, гнать надо было; нет, все-таки сошел с ума, а экспертиза липовая, да и знаете же наших горе-психиатров; но как допустили, не прервали, гипноз какой-то, растерялись; что а все-таки молодец, но так высказывались немногие малоосторожные, малоопытные; а больше народ все был тертый, осмотрительный, и фразы преобладали нейтрально-неодобрительные.

Поглядывали на двери и часы.

Санитары вынесли гроб. Им помогали сын и нестарый родственник.

Все внимательно проследили в стрельчатое окно на площадке, как гроб задвинули в больничный «рафик» и укатили.

Баранов-старичок отдулся, раздернул воротничок с галстуком и покрутил шеей. Он был здесь сам по себе, отдельный, как бы и не обращающий на себя ничьего внимания.

У перил курила своим кружком шестерка «молодых». Старичок примерился взглядом к лысеющему, лет тридцати пяти, вполне простецкого обличья.

– Эй, мальчик, – сказал он, – выпить хочешь?

– С вами? – немедленно откликнулся тот. – С огромным удовольствием.

Старичок извлек четвертную.

– Тогда сбегай, голубок, возьми литр, – сказал он. – Как раз уже открылись. Помянем!

Кухня и кулуары

*Мимо тещино дома
я без шуток не хожу.*

Частушка

Не плюй в колодец...

Пословица

Да нет, не та кухня, которая литературная, а та, которая обычная, шестиметровая, где чай пьют и реже – водку, да и то и другое все реже, и судят обо всем обстоятельно и (мой дом – моя крепость) безоглядно храбро. Не пожрать, так хоть потрындеть; а в литературе кто ж не специалист. Как там звали парнишку, накатавшего «Школу злословия»? не пивал он наших чаев, не сиживал на кухоньках, задвинутый плотно и глухо, как в танке. Кости моем – белей снегов Килиманджаро, учись, пиранья.

Разрушение легенд

– Издание, наконец, вещей, бывших полвека подзапретными легендами, сослужило многим из них дурную службу. Вообще редкий оригинал может сравняться с легендой о себе. Выход же общедоступными тиражами Хлебникова или Замятина многих разочаровал: интересно, талантливо, но вовсе не так хорошо, как в почтительном незнании ахалось, мудро-сокрушенно качалось головами и ставилось выше известного.

– По психологии запрета и незнания всегда воображается черт-те что, а узнаешь – с ног не падаешь, ничего сверхъестественного, и даже многое, уже бывшее известным, лучше.

– У кого это было: «Стоит обезьяне попасть в клетку, как она воображает себя птицей»?

Такт и ярлыки

– Уж такие мы тактичные: ни подлеца подлецом назвать, ни гения гением, пока не канонизирован покойник, либо не «сформировалось мнение всей общественности». В кулуарах вечно такая полива – святых выноси, матерок свищет, а нажрут – все друг другу гении, а в печати или с трибуны – не то горло спирает, не то промежность натерло: все на цырлах, закругленные формулировки, тьфу.

А я прямо скажу, и за слова свои отвечаю: Симашко в «Емшане» и «Искуплении дабира» – гений, и Маканин в «Где сходилась небо с холмами» – гений: без преувеличений, верх мирового класса. А Марков Георгий Мокеич – бездарь и подонок со своим штабс-капитаном Ерундой и дедом экс-щукарем Епишкой или как его, и обливанием грязью и Быкова, и Евтушенко, и Эренбурга, и Солженицына с высокой трибуны. И Иван Стаднюк со своей «Войной» – писатель для солдат с четырехклассным образованием и тупица.

– Всех тупиц не перечислишь. А х-хорош-ша секретарская литература!

«Как закалялась сталь»

– Что касается закалки стали, то мозги нам действительно сумели закалить до чугунного состояния, чего нельзя сказать о нервах.

– Бедный парень: искренне верил в то, за что дрался, герой идеи, жизнь положил, слепым трупом на койке – писал! боролся! и не хуже других. Конечно, с литературной точки зрения ничего это из себя не представляет...

– Да? так вы что, не слышали, что на самом деле писала это за него бригада профессионалов? совершенно известная история. Он действительно пытался... а нужно было создать легенду, знамя, ударную книгу сталинской молодежи.

– Слушайте, я в литературе не сильно волоку, но один случай там интересный; примечательный. Про узкоколейку. Все помнят, да: строили, метель, зима, дрова возить, голод, герои?

Так вот. Я как-то на шабашке строил с бригадой узкоколейку в леспромхозе. Валим просеку, обсучковка, режем стволы на шпалы и укладываем, потом рельсы накладываем и пришиваем. По десять часов, в заболоченной тайге, гнус жрет, – пахота. И за месяц вдесятером сделали километр. Тяжело; спали спокойно, жрали каши-макаронны – от пуза.

И вот в выходной как-то я вспомнил – и задумался: а сколько же они там километров-то сделали, в «Стали»? Интересно...

Прилетел домой – схватил книжку с полки.

Измумительная вещь обнаружилась! Я там такого вычитал – семьдесят лет назад бедные комсомолцы сами не подозревали! Явная диверсия была устроена – и до сих пор не раскрыта!!!

Ну, что городские власти в ноябре обнаружили, что скоро будет зима, а дров нет – это по-нашему, по-советски; это уже неплохо.

Сколько послали комсомольцев? – Триста.

Сколько верст надо построить? – Шесть.

Кто проходил в первом классе арифметику? Сколько будет разделить триста комсомольцев на шесть верст? – Будет один комсомолец на двадцать метров. Двадцать метров!

Объясняю, что такое двадцать метров. Это двадцать пять шпал и три звена рельсов (они шестиметровые). Шпала-кругляк под узкоколейку весит килограмм двадцать пять. Рельс тогда под узкоколейку шел практически весь ТИП-18 или ТИП-22 – это восемнадцать или двадцать два килограмма на погонный метр, а весь рельс, стало быть, сто десять – сто тридцать кило. И вот эти двадцать пять шпал и шесть рельсов на человека они и делали геройски бесконечные недели!! эпопея!! причем шпалы лежали уже готовые, только подноси и клади! да мы им эту вонючую дорогу вдесятером за месяц сделали бы!

Организация – сверхбездарная! куча народу без толку. Делись на три смены вкруглосуточную, доставай любые тележки возить шпалы и рельсы вдоль трассы, – да там на два дня максимум работы для такой оравы!

А самое главное – на кой черт они долбили в мерзлой твердой земле ямки под шпалы??!! Какой идиот, какой саботажник им это велел?! Рабочая ветка на пару месяцев, скорость на ней не нужна, – на фига копать?! кладут прямо на землю! все, всегда, везде!!

Да – холодно-голодно-бандиты. Конечно. Так не два дня, а шесть: четыре шпалы и одна рельса в день. Норма дистрофика с нарушением координации. Да нет – просто смехотворно. Апофеоз идиотизма. Прообраз наших строек. Боже мой!

Закалка стали? Молотом по яйцам это, а не закалка стали!

«Повесть о настоящем человеке»

– В санчасти как-то после войны уже лежал, скука, читать нечего, мысли разные, и вот «Повесть о настоящем человеке» стал вдруг что-то читать не как книжку, ну, а как летчик. И возникли, должен сказать, вопросы. Кому их задашь? замполиту? или школьной учительнице – жене командира?

Маресьев, конечно, герой, книжку писал не он; хотя потом уже я узнал, что в сороковом году, во время воздушной битвы за Англию, над Нормандией был сбит на своем «Спитфайре» английский капитан, командир эскадрильи, который успел выброситься с парашютом и при приземлении сломал оба протеза. Ног не было выше колен. Немцы были настолько потрясены,

что на следующий день сбросили на его аэродром вымпел, где просили скинуть для него с парашютом протезы в назначенном месте. И на этих протезах он благополучно прожил в лагере до освобождения. (При этом, естественно, он не был ни русским, ни коммунистом, и комиссара Воровьева не знал; но это я сейчас такой умный, в свете перестройки и гласности.)

Но по порядку. Бомбардировщики разгружаются над объектом, истребители прикрывают, немцев в воздухе нет, что же делает командир конвоя? – удаляется один в сторонку немножко пока повоевать. Тут на бомберов и мессеры свалились.

Это какая-то ахинея первая. Увлекся, понимаешь, рвением горел! Да если прикрытие – по любой причине! хоть на минуту! – оставляло бомберов, и немцы срубали хоть один, то командир истребителей автоматически шел под трибунал – и в редком случае шел в штрафбат, а так – расстреливался. Грубейшее нарушение приказа – охраны вверенных бомбардировщиков! Таково было положение, закон.

Дальше. Взяли его в клещи – сажать повели. Да на кой он им сдался? новая секретная машина, или ас знаменитый? или делать им нечего было? жгли всех пачками, а тут решили истребителя сажать.

Ну ладно: ведут. И тут он уходит наверх, вырываясь из-под верхнего. Только зацепить успели. Чтоб «И-16» ушел от «Мессершмитта» на вертикалях – это спорно. На горизонталях – ладно: скорость ниже, крыло короче, радиус разворота меньше, – маневренней на горизонталях, можно ускользнуть. Но на вертикалях – с меньшей скоростью, меньшей мощностью, меньшим темпом набора высоты, – не знаю, не слыхал.

Ладно: ушел. Тянет домой с обрезанным движком. Явно не дотягивает, внизу лес, садиться некуда. Вопрос: почему не прыгает с минимальной высоты, пока можно? Это ж самоубийство, почти нет шансов остаться в живых, в лучшем случае переломаешься в труху! Объясните мне, летчику, зачем втыкаться в лес?!

Лежит. Медведь подходит, шатун. Ходил я на медведя... Если на лес грохнется с неба самолет поблизости, то медведь тут же обделается и удерет от этого необъяснимого ужаса, и приблизится очень нескоро и очень осторожно. Ну, шатун, жрать хотел – пришел. Когтем цапнул – комбинезон не подался. Да он цапнет – жезл раздерет, голову оторвет! «комбинезон не подался»! Понюхал – решил: мертвый. Это, может, Полевой решил бы, что мертвый, а медведь – он как-нибудь разберет, кто мертвый, а кто живой. И свернет шею. Голодный – закусит сразу, сытый – прикопает, чтоб запахок пошел, но сытый шатун – это редкость большая. Короче, глупый медведь попался и несчастливый. Потому что человек тут же, лежа, выстрелил в медведя из пистолета и убил его. Это, стало быть, лежа, навскидку, одним выстрелом, из пистолета ТТ – какого ж еще? – калибра 7,62 – уложил медведя. Странно еще, что не из рогатки он его убил. Как пропаганду мощи советского стрелкового оружия я это понимаю, а как рецепт охоты на медведя – пусть мне писатели растолкуют, это я не понимаю. Эту живучую махину – из этой пукалки? в сердце – фиг, на дыбки поднимать надо, иначе не попасть, с черепа рикошетом соскользнет, позвоночник из этого положения такой ерундой тоже не перешибешь. Короче, охотник на привале.

Кстати. Курс свой он знал, карту имел, расстояние до линии фронта представлял, – чего он тогда медвежатиной не запасся? Или исключительно ежей и клюкву предпочитал?

А вот дальше он чувствует, что похоже, переломал плюсны стоп. Похоже, даже раздробил. И что же он делает? Снимает унты... Пока меня первый раз не ранило, я не понимал, почему на раненых одежду срезают, а не снимают нормально. А потому что движения эти всё в твоей ране смещают, давят, трут, кажется – просто мясо у тебя с костей завернется пластом, если штаны на тебе не разрежут, а снимать начнут с раны. И сапоги срезают, и валенки. А когда раздроблены все мелкие косточки стопы – снимать обувь, – это пытка чище любого испанского сапога. Так мало того – он потом унты обратно натянул! Тут я не выдержал, спросил у доктора в санчасти. Удивился доктор, прочитал, помычал, уклонился. Так он потом еще встал на

эти ноги и пошел!!! По горячке после ранения и на обрубках пойдешь, но это первые минуты только, а потом всё! Это где ж вы видели, чтоб люди на раздробленных ногах шли да шли?!

Как хотите, но все это чушь.

С тех пор хотелось мне как-нибудь с Маресьевым встретиться и узнать, как на самом деле все было. Если только не случилось так, что вместо собственной памяти у него теперь сочиненное хреновым, я вам доложу, писателем Полевым.

Госкомиздат

– Гениальная контора, достойно координирующая наш бред в области книгоиздательства. Особенно радостно это выглядит на параллельных изданиях:

В течение нескольких лет десять разных издательств издают «Трех мушкетеров», скажем. Десять редакторов редактируют, десять художников художничают, десять корректоров вычитывают, десять наборщиков набирают и т. д. Почему не отдать все одному издательству и одной типографии? Потому что тогда тираж съест всю бумагу и всю мощность этой типографии, и издательство придется закрывать. И слава богу, закрыть! другие книги будут издавать другие издательства. А планы? штаты? зарплаты? Десятикратно будем повторять мартышкин труд и жаловаться на нехватку всего.

Полиглот

– Военная биография начальника Союза писателей СССР Карпова вызывает глубочайшее уважение, литературные же упражнения и заслуги представляются, как бы это сказать, менее бесспорными.

Когдатошние его ташкентские знакомые отзываются о нем как о парне очень славном; но почему творческий союз должен возглавлять генерал, лучше объяснят, наверное, генералы, нежели писатели.

А казус, утверждают, произошел следующим образом:

Вновь назначенный Карпов сидел в президиуме на какой-то пресс-встрече с иностранцами, и, представляя его, сказали, что он в прошлом кадровый офицер, генерал в отставке, фронтовик и разведчик, прошедший всю войну и захвативший семьдесят пять «языков». Девочка, переводчица-синхронистка, мало знакомая с военной терминологией, перевела в запарке, что за время войны он овладел семьюдесятью пятью языками. Иностранцы замерли в изумлении перед столь необычайными способностями разведчика. Пока кто-то из наших не понял, наконец, в чем дело, и захохотал невольно, и устроили радостную овацию. Кто-то проорал в восторге: «Полиглот!» Так это прозвище за глаза и прилипло.

«Дата Туташиа»

– Если бы Амирэджиби умел немного лучше, короче и тщательнее писать, этот роман занял бы место в мировой классике. Замах, контур, идея – величественны; боюсь, это тот самый обидный случай, когда есть все для гениальности, кроме достатка профессионального мастерства.

Лучший в мире читатель

– А я тебе так скажу: делать нечего – вот и читают. Покупать нечего – покупают книги. Выделиться нечем – выделяются библиотекой как ингредиентом престижа. При нужде найти невозможно – хватают нужное и ненужное при первом случае.

Кто читает? высоколбые книги я имею в виду? интеллигент читает. Кто есть советский интеллигент? человек с высшим образованием и низшей зарплатой, без всяких возможностей создать себе материальное благополучие, работая по специальности. Он не может основать собственное дело, заработать миллион на изобретении, иметь всегда перспективу роста, работать по своему уму и способностям от пуза и расти без предела, – масса его умственной энергии не востребована, сенсорный голод не удовлетворен, объездить мир невозможно, купить свой хороший дом невозможно, оставить детям состояние невозможно, поэтому он всегда немного Манилов. И он читает – вдумчиво, истово, эмоционально. А создать ему американские условия – бросит читать к чертовой матери, вместо этого будет жить, работать и развлекаться.

Для нас чтение – отчасти сублимация, компенсация, опиум, онанизм и самоутверждение. Вопрос «Вы читали...?» заменяет обычно вопрос: «Вы отдыхали во Флориде?» или «Вы купили клинику?» или «Вы совершили то-то и то-то?».

С каким умным и образованным видом судили пять миллионов интеллигентов о среднепробной беллетристике «Плахи» или «Детей Арбата»! Нет светской жизни, нет свободной жизни, – даешь духовную жизнь!

А что делать? водка? футбол и рыбалка? выпиливание по дереву?

Когда человек урабатывается – ему не до сложных книг. А если в работе еще и видит смысл своей жизни – ему не до второй серьезной работы, каковой является чтение серьезных сложных книг.

Книг у нас больше покупают, чем читают, и больше читают, чем понимают. Потому что нет у нас, нет ста тысяч читателей Пруста! Зато есть пять миллионов, которые за треху охотно поставят его на полку, а себя – на ступенечку выше в табели о рангах: образованность у нас все же престижна.

Так просто: серьезные книги ведь серьезны не абсолютно, сами по себе, а относительно большинства других, менее серьезных, и воспринимаются небольшой частью читателей, более склонных и способных к этому, чем большинство. Это элементарно, да, Ватсон?

И глупо сетовать, что большинство все более предпочитает ТВ и видео. Рассказ о событии был заменой собственного видения этого события, книга – заменой устного рассказа, а кино через эдакий диалектический виток предельно приближает нас к увидению и познанию события во всех красках, движениях и деталях: лучше один раз увидеть, утверждали, чем сто раз услышать.

Читать хорошо. Но жить все-таки лучше.

Пушкин и русский язык

– Весь восемнадцатый век на русский язык, фигурально выражаясь, натягивалась по возможности немецкая грамматика; общеизвестно. А в первой трети девятнадцатого у Пушкина (в прозе) и особенно у Лермонтова – у него это просто ясно видно – появляется нечто совсем новое: они как бы пишут французским языком по-русски, или русским языком на французский лад, если угодно: строй фразы, ее синтаксис – не русские, с точки зрения русской грамматики – местами буквально не мотивированы, а калькированы с французского. Любимые лермонтовские точка с запятой между отдельными словами, двоеточие как знак скорее интонационно-оттеночный, нежели несущий какую бы то ни было конкретную грамматическую функцию, – столь же характерны для художественного французского языка той эпохи, сколь нехарактерны для русского.

Вот это изящное и фривольное офранцузивание русского языка и стало началом и основанием языка русского литературного классического.

Дивная тема для кучи диссертаций. А что? Образованные дворяне того времени овладели французским часто раньше и основательнее, чем русским; вот вышеупомянутые и впали в

ересь: смешали языки – в хорошем, высоком смысле – придворный аристократический французский и житейский родной русский: вот и легкость, и гибкость, и блеск, и длинное дыхание фразы.

«Герой нашего времени»

– С руки Эйхенбаума принято возводить родословную Печорина к Констану-Шатобриану. Да-да, конечно. Но:

Почему Лермонтов бросил «Княгиню Лиговскую»? Такая штука: Печорин уже, от рождения, имеет все то, к чему бедный герой «Лиговской» стремится. Ну, достигнет... не в энтим счастье.

Вопрос: читал ли Лермонтов «Красное и черное»? Не знаю. Но по логике вещей – должен был, вероятно, прочитать.

И он, что естественно для человека толкового, в данном случае – для гения, начинает там, где другой кончил. Печорин, как и Сорель, красив, умен, горд, полон жизни, – но ему уже ничего не надобно добиваться, то, чего вожделеет один – другой уже имеет. И вот что из этого вышло.

Зачем было писать «Княгиню Лиговскую», если «Красное и черное», то бишь «Путь наверх», было уже написано. И он пишет уже «Жизнь наверху»: следующую и другую ипостась той же, в сущности, коллизии.

Хронологически, по датам, это вполне совпадает.

Психологически, творчески, тоже было бы естественно.

Сопоставительным анализом эта версия легко простраивается в подробностях и доказывается. Странно, что до сих пор этого никто не сделал.

Впрочем, в массе своей литературоведы такие же тупые люди, как и прочие граждане.

«Тарас Бульба»

– Гоголь, конечно, был гений... упаси Бог, я не замахиваюсь... все мы из шинели, так сказать, хотя большинство из телогрейки... но изучение «Тараса Бульбы» в школе... ну я не знаю...

Они же там всех режут, и это так, значит, замечательно, когда они режут; а вот когда их режут, это ужасно и мерзко. То есть когда они бьют – это хорошо и похвально, а когда их бьют – это плохо. Сплошной гимн дружбе и интернационализму! Сплавали за море пожгли турок – молодцы. Порезали поляков – молодцы. Евреев потопили – молодецкое развлечение. Жиды трусливые, жалкие, грязные, корыстные и пронырливые, и их потуги спастись от смерти вызывают только смех. Полезная для школы книга. Особенно полезно ее изучать, наверное, именно евреям, полякам и туркам. Удивительно гуманный образец великой русской классики.

Тургенев

– Характером и духом великий либерал, что видно из его биографии и произведений, был не слишком кремнев; Виардо в их любовном дуэте его переломила и подчинила навсегда, следствия чего прочитываются и без изучения психоанализа Фрейда. И все его герои не есть сильные люди, даже если хотят таковыми казаться и кажутся окружающим и даже себе: авторские антиномии, пертурбации, коллизии и мелихлюндии начинают их всех.

И только в одном случае попытался создать Тургенев сильный мужской характер, каким сам не обладал и который мечтал себе выработать, иметь хотя бы для самосознания, самоуважения: это отец Владимира из «Первой любви». И когда он взмахивает хлыстом, а она смотрит

неизъяснимо и целует на своей руке след его удара, вспухший рубец, – вдруг понимаешь, чувствуешь, что это неправда, не было, не могло быть, но очень хотелось, чтобы было: безумно мечтал Тургенев быть вот таким мужественным, повелительным, забравшим полную власть над любимой женщиной, предавшей ему всем телом и душой.

– Если нет в тебе крутизны – крутого героя не сделаешь. Тот, кто так обращается с любимой женщиной, уж с нелюбимой женой еще лучше разберется; а тут – ах-ах, слезы-мольбы, дай развестись – хочу жениться, все плачут, болеют, умирают и уезжают. Да, Тургенев пытался иногда представить себя таким крутым, и в письме, естественно, сублимировал, но даже не знал, бедный, что дальше-то будет делать такой крутой! и давай его плакать...

– Бедолага! Недаром солдафон Толстой издевался в «Современнике» над его «демократическими ляжками»: «Шлепну шпака, как мух-ху!»

Бунин

– Да нет, не тот, конечно, который начальник в Лениздате, а который Иван Алексеевич. Уж так он себя любил, так щемяще и пронзительно любил, что просто не знаю... и жалел. Неприлично, не по-мужски, неловко иногда читать, в конце концов. В чем-то – основу его творчества составляет внимательная, понимающая, трогательная, с сочувствием и жалостью любовь к себе, любимому.

– Любил барин клубничку и себя в клубничке, и болезненно скорбел по отсутствию одного.

Литература и язык

– Блеск блеском, ан не блестящие произведения остаются вершинами; блеск литературы условен, понимание истин человека и бытия – абсолютно: энергию таланта следует скорее направлять на их постижение, нежели на шлифовку формы; хотя этим оправдываются и банальные бытописцы, но заурядность всегда найдет чем оправдаться...

Не блестящий мэтр академик Мериме, но «скверные стилисты» Стендаль и Бальзак остаются вершинами французской литературы; а достигнув формального совершенства, она в XX веке решительно деградировала. А поперла американская – грубоватая, мощная, витальная.

Блеск российского «серебряного века» – это талантливость мастеров, в совершенстве овладевших всей изощренностью высокого искусства любви – но утеревших могучий и неразборчивый инстинкт ее подлинной страсти. Толстой, не говоря о Достоевском, «плохо писали», – но в результате неплохо вышло. Мысль и страсть решают все! Привет пассионарности.

Поэты и кумиры

– Каждый чего-то не может понять, в силу, видимо, своей ограниченности. И вот моя ограниченность не дает мне понять, как на I Съезде писемников, когда встали у сцены метростроевки в алых косынках и с отбойниками на плечах, Пастернак у ближайшей пытался взять отбойник и держать сам, он не может, чтоб девушка тяжесть держала, а потом сказал, что даже не знает названия этого тяжелого «забойного инструмента»; моя тупая ограниченность не позволяет мне понять, что это он сделал искренне и естественно. Это вполне согласуется с «какое там, милые, у нас тысячелетие на улице?», но никак не согласуется со вполне здравыми и рассудочными поступками жизни Пастернака, а уж в 34-м газеты, радио, кинохроника так трубили о метро и шахтерах-стахановцах. Боюсь, что это тоже – создание имиджа.

И никак мне, скорбному умом, не понять, как можно неоклассицистов Ахматову и Мандельштама, при всем моем к ним человеческом уважении и преклонении перед трагичностью и муками пути, и поэта внутри поэзии Пастернака, и благородного интеллигентно-авантюриста Гумилева, писавшего стихи для гимназистов и барышень (помесь рашен Киплинга с рашен Рембо плюс эстетская циничноватая самоирония Северянина) ставить в один ряд с Поэтом милостью Божией Мариной Ивановной Цветаевой, естественной и страстной во всем, боль и нерв, надрыв и удаль, саможжение и безоглядность. Голову склонить – но не ряд, не чета, не ровня.

Ворошилов, Жюль-Верн и космополитизм

Покойный Евгений Павлович Брандис рассказывал:

В сорок девятом его, кандидата-филолога-германиста, за пятый пункт турнули из Пушкина и напугали на всю оставшуюся жизнь. И остался он без работы. И никуда не брали. А семья, дочка, кормиться надо. Изредка разрешали где-нибудь платную лекцию или выступление. Да таллиннская «Вечерка» брала статьи к юбилеям русских писателей.

Но какой-то детский клуб вела его добрая знакомая, и вот она приглашала его почаще рассказывать детишкам о всяких интересных книжках. А круг дозволенных интересных книжек был сужен до предела. Одним из незапрещенных оставался Жюль-Верн: нет, в плане борьбы с низкопоклонством перед Западом тоже не издавали, но поминать запрещено, вроде, не было. И через несколько лет такой жизни Брандис, подначитавшись и поднаторев в безопасном и безвредном Жюль-Верне, даже написал трехлистовую брошюрку, и даже ее маленьким тиражом издал как-то под каким-то скромным методическим грифом.

А тем временем умер Сталин, пошла большая чехарда в верхушке, и первый красный офицер Ворошилов оказался на курировании культуры. И директор Гослитиздата, соответственно, и явился к нему подписывать планы выпуска литературы на будущий год.

Ворошилов встретил его благосклонно, проворошил нелюбовно пачку листов, закурил: решил поговорить немного о литературе, наставить, поруководить издательским процессом.

– А вот ты такие книги, интересные там, приключения издаешь?

Директор напрягся, поймал, решил, сориентировался:

– А как же, Климент Ефремович, конечно, издаем!

– Какие?

– Э, м-н, ну, вот скажем...

– А я вот в детстве, помню, – откинулся на спинку Ворошилов, – очень любил Жюль-Верна. – Задумался мечтательно. – Очень был интересный писатель... Издаешь его?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.